Алексей БОСЕНКО

ИРОНИЯ КАК «IDEATUM» ВРЕМЕНИ

Екологічно чиста липа, без ГМО.
Надпись, подсмотренная на Базаре

Писать об иронии — занятие не для слабонервных. К этому странному действию приступают, когда либо нечего сказать, либо нечего терять. Последнее «прости». Попытка подвести черту, поскольку обращение к иронии таит желание выяснить о чем ты был всю жизнь, найти последние основания и опровергнуть их. Здесь не укроешься — все наносное будет разъедено иронией. Сама по себе она — жест отчаяния. Желание прикрыть свою опустошенность чужим содержанием, наполнить извне — типичное ощущение голодной пресыщенности, тотального потребителя, свертывающего весь мир, когда потреблять больше нечего — изнаночная сторона присвоения, пытающегося поглотить бесконечность («пуще прежнего старуха Ирония вздурилась») и ее претензии быть больше, чем на самом деле.

Особого смысла в иронии нет, но если хочешь разобраться в последних пределах, опять же, в основаниях, только и остается писать «об» ей, родимой. Она не позволит сфальшивить, уклониться, и сразу явит тебя во всей красе, по сути, если таковая есть, или покажет всю звонкую пустоту деяния длиною в жизнь, которая дошла до крайности, до точки, являясь одной сплошной потерей. Здесь притвориться невозможно, поскольку и сама ирония возможности не имеет, хотя и не начинает с того, что «возможно, это так». Она — как больная совесть, заглушить которую развесистыми словесами не удается. Ты-то знаешь правду, и все, что не ты — другое, своим существованием превращается

в иронию. Самое безобидное «не то, что, а...» норовит обратить тебя к себе и столкнуть с самим собой настоящим, который, как правило, не то, что есть в наличии, но то, кем мог бы быть, если бы.

В каком-то смысле смерть — это ирония жизни (обоюдоострая взаимообразная ирония, правда и жизнь для смерти — возможность и надежда сбыться). Собственно иронию можно было бы выражать как «И»: «и... раз, и-и-и что?» Последовательное отрицание в поисках безусловного, того, что останется, пусть даже это будет простое намерение или несбывшееся, нечто, не поддающееся отрицанию.

Опасность иронии в том, что эта истеричная бесноватая Эриния не отпустит, от нее невозможно отвязаться, она все сводит к очевидности. Она на все заставляет смотреть своими глазами, с оглядкою. Да еще кося, боковым зрением. Истерика — твоя. Ирония хладнокровна. (На этом оскальзываются многие современные торговцы краденным, выдающие себя за «филозопов». Много сейчас слышится сентенций, что задача философии в том, чтобы все сводить к очевидности, к простоте, которая совсем не ересь, а священное право каждого обывателя уестествить то, что не токмо ему неведомо, но и вовсе неведомо по существу. Так что мещанская обыденная ирония — это особый вопрос. К тому же, как философии не знать, что ничего очевидного нет и быть не может. Современная скоропостижная «философия» бройлеров этого понимать не желает, создавая проблемы на пустом месте, изображая насущную потребность в самой себе. Постижение равносильно присвоению. Но поскольку кто платит, тот заказывает музыку, то у них свои парикмахеры, их стригущие, и кулинары, готовящие что-то на заказ по принципу: «За ваши деньги — любой каприз» — создают «рай для дураков», как говаривал Бернард Шоу о театре, что тоже недурственно, поскольку к собственно философии, за которой ходит дурная слава о сделке с дьяволом, эти клеветы не прилипают. Она создает походя, следуя своей природе, свой театр (марионеток? жестокости? абсурда?), где обыватель играет роль статиста, мебели, декораций, и в своем балаганном обличье то, что кощунственно, опять становится чистой иронией. При том, именно ирония является трагедией в чистом виде, я подчеркиваю: «является», рядясь в одежды безусловного. Рождение трагедии из духа музыки? Как бы не так. Из духа иронии. Эдип, Гамлет, Фауст — весь театр, да и жизнь человеческая начинает прозревать, когда режется ирония, режутся в иронию как в дура-

ка, или взаправду — иронией — будто на ножах, не до первой крови, а насмерть, а только потом — удивление, сомнение и ощупывающая свои начала «навпомацки» первая философия, которая до сих пор еще не вылупилась из кокона самомнения, да и по-прежнему является «хронодицеей» — оправданием времени, как эффектно выразился Ф. Шлегель об истории. Ирония — необходимый фермент для провокации при определении «каузальности свободы», почти по Канту. При этом восстанавливаются, реанимируются ветхие проблемы, вроде тезиса о «преодолении кантианства», как у Рорти с сотоварищи вроде Уилдрида Селлерса, Дональда Девидсона, Р. Деннета, Р. Хогинса, О. Куайна etc. В общем, сплошной «memes». Хотя, что его преодолевать, он вполне снят последующим, не скажу развитием философии, но послекантовской естественной ситуацией, сложившейся исторически, точно так же, как и все персонажи, отважившиеся что-то высказать.)

В иронии видят надежду, как в невозможном — возможность, пугающую пустоту сакраментальным «в этом что-то есть», — и если в пустом отыскивается Ничто, никакое что, то оно воспринимается чистым пространством действия, где ты один, но, что бы ты ни делал, обретает смысл окончательной, необратимой данности, — ты источник, начало и причина движения, и все это только ты, кто-бы-ты-ни-был — уже был в то время, как ирония — решительное и отрешенное «что-бы-там-ни-было». Так что ирония — окончательное и завершенное в своей невозможности завершиться окончательно выражение эгоизма, отнюдь не разумного в духе Фейербаха, Штирнера или Чернышевского.

Ирония — это тот самый «ангел, свертывающий небеса», однако за этой ширмой уютного мира открывается бесконечность и вечность быстробегущая, поглощающая призрак времени. Она примиряет с мыслью, что все напрасно, самой идеей бесконечности. Ирония — универсальное противоядие, «митридат» против, от и до. Против смерти, бесконечности, времени, против Бога, Черта, хамства... От любви, ненависти, жизни, глупости, абсолютной Красоты, и, самое интересное, противоядие «до» всего остального, которое простирается до Вечности, вечностью, только потому, что есть откуда. Остальное — не оставленное, а предстоящее. Остальное может не наступить, а вот сыворотка, полученная из непосредственного опыта, уже есть — это ирония. Без иронии это начало бы не состоялось, она — как своего рода теофания без «Тео», отпадение, абсолюция, от-решение от абсолютного и приведение его в чувство

из-умления. Благодаря ей безглазая вечность начинает вглядываться в себя, становясь из безразличного абсолютного вселенной, поселяясь в бесконечности и обживая ее как дом с округой окрест.

Поэтому, когда ничего больше не остается, восстают против, неважно чего: иронизируя и разрушая все с каким-то мстительным удовольствием, которое в свою очередь не избегает той же участи. Когда все можно, «нет ничего, что было бы нельзя», и некуда деться, особенно от себя, тогда прибегают к иронии, прибегают в иронию. Именно поэтому вопрос о так называемой «философии иронии» лукав и сомнителен, а для меня — праздный. Но зато есть несомненность иронии философии. По существу вся философия иронична.

У классических англичан нет привычки давать резкий и правильный ответ. Как правило, они употребляют уклончивые вводные обороты, вроде: «мне кажется», «возможно, что», «боюсь». На вопрос «не подскажете ли, как попасть на Пикадилли?» Вы получите ответ: «Боюсь Вас огорчить, Сэр, но Вы находитесь на Пикадилли», о чем заметил в свое время Бэрнард Шоу, которого англичане на дух не переносят. С этим может сравниться только старая Одесса, где на похожий вопрос: «На что мне сесть, чтобы попасть на Дерибассовскую?» отвечают: «На ж..., Вы уже на ней». Ирония — что-то среднее между английским и одесским. Нет, она не антиномична, она посередине, но без крайностей. И, конечно, не искусство передразнивать, просто призывая к умеренности, к «золотой середине», а по сути — к посредственности, провоцируя к культу меры. Ирония меры не знает, тяготеет к бесконечности, а поскольку начало буквально положено во всех смыслах, то это центробежное действие иронии оказывается плохо скрываемым бегством в никуда. Нечто подобное — и в философии «на предъявителя» (на «проявителя»). Любое высказанное суждение тут же ветвится даже в своей однозначности: для слушающего или читающего (не факт, что слушая, слышат и читая читают).

Для высказывающего это одно, вдогонку высказыванию — другое, и то, что высказавший на самом деле думает — третье, и так до бесконечности, дурной, кстати, бесконечности. Каждый с этим сталкивался не раз (от времен замусоленных до метафизических дыр «Аналитик» Аристотеля до современных логик, герменевтик. Все с удовольствием играют в эту игру в кости рассохшихся смыслов. Никто не запрещает, хорошее времяпрепровождение, если не вспоминать, что расплачиваешься временем своей жизни).

И выход один: говорить общепринятые банальности. Не хочется. Но соблазнительно, потому что из штампов можно составить приблизительную схему, сконструировать весьма дорогую глупость. Либо на помощь приходит всепримиряющая ирония, которая, как всеобщий эквивалент, позволяет безболезненно обменивать смыслы и разменивать их на пустяки и безделицы. И то и другое к философии не имеет никакого отношения, но в обиходе удобно, хотя и громоздко, как у Свифта, когда нет понятий, и обмениваются не мнениями, а таскаемыми с собою предметами (мы предпочитаем ими торговать). Такой натуральный обмен. Современный торговец философией напоминает букашку из известной китайской притчи, которая ползет, подбирая все, что встретит на пути, пока не падает, изнемогая под тяжестью подобранного, не в силах двигаться. Напоминает попытку взять в охапку песок, объять время и удержать его. Чтобы избежать этого, делают установку, что надо двигаться налегке, избавляясь, как в американском варианте, от так называемой «аналитической философии», от истории, не считаясь с предшественниками, так, будто философия — это то, что написано за последние десять лет. Очень удобно, но до смешного глупо, особенно, когда тупость возведена в ранг добродетели и является показателем лояльности, не обязательно к власти, но ко времени, к современности..

Проблема в ином: по любому поводу много уже сказано и написано, много скопилось описаний различных случаев, прецедентов, готовых рецептов. В тупом мире, в котором мы живем, да еще при помощи Интернета, можно решать те или иные проблемы в рамках необходимого и достаточного. О той же иронии просто нечего сказать, все уже есть и совершенное очередное миллионное суждение для пользователя ничего нового не добавит. Здесь любая проблема — во власти художественного и не очень вкуса (Кант). Философия превратилась во вкусовщину. Те, кто ею занимаются, нет, питающиеся философией, довольствуются мнением, достаточным для основания того или иного действия. Суть вопроса не интересна, главное — существует готовое основание для поступка, принятия решения или повода «принять к сведению». Думать больше нет нужды. Фальшивые «правды» предрассудков получили со всеобщего согласия свободное обращение наравне с более-менее надежной логикой, которая «деньги духа», больше ничем не обеспеченные. А ведь это только в рамках прагматического мира причинно-следственных связей, где до челове-

ческих отношений, даже до представлений о них — бесконечность. Спасибо и на том, что в философии «нет нужды», не по нужде она. То, что потребители принимают ее за свободу — всего лишь необязательность, и можно перевести дух и поиграть в произвол, создавая поводы для соизволений.

Это не бросает на кормилицу тень, в себе-и-для-себя она чиста и непорочна, но мужики и бабы, от ее имени вещающие — как проповедники, служители церкви, торгующие Богом оптом, вразнос и навынос. Пусть себе. В умирающем мире, хватит и того, что есть. На долгие годы. Тем более, что искусство, да и сама философия, сквалыжная старушка в маразме, не говоря уже о религии, весьма преуспевшей в бизнесе, вскормлены страданием, в том самом первозданном смысле страды-восприятия, когда всеполнота мира достраивается тобою до вожделенной целостности, принимая боль на себя — все проточувства отсюда. И смысл — в фальшивом смирении и покорности (для слабых) и негодующем поиске справедливости, тоже фальшивом (для думающих, что они сильные). Все человеческое выстрадано, и даже радость, счастье, любовь и тому бесподобное, которые к со-страданию не способны, а только обозначают желание. Страданием успешно приторговывают, им спекулируют, и это отвратительно. «Господин когито размышляет о страдании»? Великолепный Збигнев Херберт:

Все попытки ее отстранить
пресловутую чашу горечи —
рефлексией
бешеной акцией в пользу бездомных котов
глубоким дыханием
религией —
не оправдались

надо смириться
кротко склонить голову
не заламывать рук
в меру мягко страданье использовать
как протез
без ложного стыда
но и без спеси

не размахивать культей
над головами других
не стучать белой палкой
в окна сытых
пить настой горьких трав
но не до дна
прозорливо оставить
пару глотков на будущее

принять
но в то же время
обособить в себе и создать
если это возможно
из материи страдания
вещь или персону

играть
с ним
конечно
играть
играть с ним
весьма осторожно
как с больным ребенком
вызывая в конце концов
глупыми штучками
подобье
улыбки

Пер. Анатолия Ройтмана [1]

Был порыв привести ошеломляющее стихотворение в оригинале, в переводе изысканные тонкости утрачены, что неизбежно, но сойдет и так, хотя жаль. «Поять, а равноценно выдребнить в себе и если это можливо сотворит из материи страдания речь или особу…» Как хотите, а «выдребнить» уж точно приемлемо.

Поникшая, вялая улыбка искусства или кривящаяся в сарказме современная философия имеют право играть роли, какие хочет видеть потребитель.

Кривляние никого не волнует, а может кого-то и забавляет. Если вспомнить о роли шута в истории... Например у Шекспира, Гельдерода и т. п.

Вот если бы появилось хоть какое-то развитие, то заемной иронией, искусством передразнивать уже не отделались бы. (Хотя откуда развитию взяться.) Не хватит всей бывшей, настоящей и будущей философии (кажущаяся свобода мгновенно была бы раздавлена, если бы не слилась с подлинной, ушедшей в основание), поскольку мышление, вплетенное в бытие, требовало бы бесконечного и мгновенного превращения, не щадя своих умственных способностей. А там, в ином бытии свободы, философия исчезает как ограниченность, оставаясь собой, но как непосредственное всеобщее мышление, естественное, но больше не нуждающееся в некоей камере для возгонки идей, в доразвитии, видящемся недоразвитому миру как нечто из ряда вон. Это сейчас ирония, —как уток, нить, которую протягивает челнок, снуя туда-сюда, переплетая перпендикулярно нитям основы, — участвует в качестве необходимого элемента, чтобы выткать холст бытия. «Аки платно дух мой во мне быст, ткательнице приближающейся отрезати» (*Иез.* 38 : 12). Ирония и норовит укоротить век искусства. Причем нить основы по качеству лучше, чем сырье нити утка, что символично, последнее выдерживает меньшие нагрузки, чем основа, на которой случайные художники рисуют свои картины, видения и исповедуются, растелешаясь в странных страстях. Ирония второсортна, несвободна, зависима, вынуждена, хотя рядится под своеволие. В развитии мысли ирония играла бы роль детонатора. Но о чем говорить, если этого, — может быть, к счастью, как знать, — нет. Поэтому ирония — вполне безопасная забава. Она потеряла весь свой яд, который убивал выспренность обыденности, ее самодовольство, и заставлял либо возноситься в бесконечность, либо унижал дотла, и на тле бывания лучше виделось все то же возвышенное, или хотя бы возвышенным кажущееся. Она — как вертикаль между «верхом» и низом», распор, удерживающий пространство от схлопывания и подпирающая высоту, сотворяющая высоту и глубину, будто катализатор. Своего качества не имея, ирония заставляла безразличие качествовать в различии как таковом, без названия. Ирония и есть культ различия, от-личия, создавая видимость выбора, хотя заведомо ясно, что выбора нет.

В ее отношении нечего сказать, она не доказывается, зато высказывается в ответ даже на молчание — долго и нудно, как афоризм, длящийся вечно.

Особенность в том, что она отвечает не на поставленный вопрос, а когда не спрашивают. Ольга Седакова говорила в интервью об иронии, что последняя — ответственна, поскольку отвечает, и всегда в ответ, не может быть сама по себе. Возможно. Но — не диалог, а монолог отвечающего, вроде одесского «Вы меня спросите? Так я вам отвечу!».

Неприятность же в том, что ирония никогда не бывает проблемой. Ее невозможно застать врасплох. Она непротиворечива, эклектична, и потому-то так любезна миру индивидуев, даже не противостоит ему, допуская все и все отрицая, и, в конце-концов, примиряя с объединяющей хваткой внешне-принудительного, организующего, совокупляющего порядка, занимающегося селекцией, спариванием и выведением гомогенезированной генно-модифицированной массы особого сорта потребителей, идей, вещей, потребностей, индивидов, типов и тому подобного, которое есть только подобие и ничего больше. Ирония — заменитель свободы — чистейший произвол, позволяющий соединять несоединимое легким движением простого как топор отрицания, такой себе (на уме) отрицающий жест, минус, ничего не отнимающий, напротив — утверждающий, «-», микроволшебная палочка (зачастую кишечная), множит и без того бесконечную быссмыслицу мира. Это отрицание вызывает моновремя и сотрясает монопространство до бесконечности, пока нужную длину не обкорнают (или об-карнают карнациями, обложат кармами, брошенными жребиями и угрозами, ссылаясь на смешные, но такие значимые для суеверного обывателя законы кармы и прочую дребедень) какие-нибудь современные Парки, Мойры, решив, что этого достаточно. Ирония — «как бы...», однако «как бы не так», и всегда «однако».

Учить иронии бессмысленно, и писать о ней — самое бестолковое занятие, но именно это обстоятельство создает видимость свободы и вызывает опасный восторг. Свобода, по справедливому и многословному доказательству Н. Бердяева, не телеологична, — это энергейя непосредственного. Именно поэтому свобода — не обстоятельство, она — (не-) судьба. В свое время Алексей Федорович Лосев совершенно справедливо сетовал, что напрасно отказались в угоду западной необходимости от категории судьбы. Я в этом с ним полностью солидарен. Да, понимаю, что судьба изрядно скомпрометирована и опошлена и не дает ясности, ее отдали гадалкам, захватали пошлыми трактовками. Онако Лосев совершенно прав, когда говорит об античном, чистом понимании

(приятии, хотя можно и обойтись) судьбы, поскольку необходимость — это механика, айн, цвайн, драйн, а вот судьба — это та же необходимость, но к которой я отношусь по-человечески, как к сотворяемому действию. Необходимость — фатум, Рок, судьба — это возможность ее избежать, но в любом случае любовь и жизнь, даже если смерть, которую тоже можно любить. Хотя это перебор, как, хихикая, подсказывает ирония. На самом деле это относится только к метафизическому понятию необходимости, а не к ее развитию в свободе, которое не ограничивается достижениями немецкой классики, собственно и свободу понимающей как «свободу от» необходимости в природе. Так что уже у них механика подразумевается, но вовсе не при чем. Дальнейший смысл саморазвивающейся свободы, которая, уходя в основание, превращается в «энергический принцип развития», сейчас мало кого волнует. Но от этого не перестает быть. Сейчас вообще мало кого волнует что-либо, выходящее за пределы повседневных нужд. «Мы побороть не в силах скуки серой, нам голод сердца большей частью чужд...» Опять и снова Фауст. Ирония — только заменитель судьбы. Она — всего лишь участь, если угодно, жребий («О жалкий жребий мой...»), часть, которая мнит себя целым. На самом деле, цели нет, предмета нет, даже видимости и кажимости нет — сплошной произвол и торжество субъективности при полном отсутствии ответственности. К тому же о ней написано все и ничего. Кто только ею не увлекался. Можно смело идти по проторенным путям и просто описывать иронию в ее истории, которой она не имеет — не ошибешься. Составлять описание типов иронии — и работы на целую вечность. Библиографический указатель? — да, пожалуйста. По авторам? — извольте. По датам? Да ради бога.

Наконец, «Энциклопедию иронии» наваять с коллективом авторов, с привлечением иностранных инвестиций. Дарю идею. А что? Разделы до бесконечности:

Жестокая ирония. Бессердечная ирония. Злая ирония. Добродушная ирония. Мягкая ирония. Остроумная ирония. Скрытая И. Неподражаемая И. Плоская И. Веселая И. Грайлива І. Злиденна І. Хтива І. Кумедна І.«Терпкая И». «Сократовская И». Ложная «И». Ирония Веры. Контемпоральная ирония. Невольная ирония. Концептуальная. «Могильная ирония» (Рассел Коннор). «Хай-тек-ирония». «Ирония как бедная симуляция» (конечно же Бодрийяр, гнущий свое). «Энигматическая ирония» и так далее и тому подобное. Несть конца.

Ирония — неисчерпаемый кладезь (и, как душа, неистребима — противится штампам, ее воротит от того же «кладезя», словно от неисчерпаемой глупости), она допускает все, от тупости до утонченного остроумия, от возвышенного до низменного, от пошлого до изысканного, от выспренного и тыспренного до нежного и печального, но по большей части она «от», а длиться как «до», но даже опровергнутая — она неисчерпаема. Чистое дление, построенное на внешнем отрицании. Она без-образна, ее образ в умолчании, между тем, с чего она начинает и тем, во что превращается, где самоустраняется, ускользая в и отрекаясь от результата. Страсти по иронии, которая по существу бесчувственна и никакая, заимствуя не то, чтобы атрибуты, модусы и фигуры (она не субстанциальна), но просто оттенки извне, в другом, правда, и показывая этому другому его возможное обличье. Она — не просто ассоциация, порожденная мышлением по аналогии или показавшаяся — но ассоциативное возмущение, резонанс. Ирония отходчива, но не прощает. Прощение — это возможность возвращения, которое невозможно, и это тоже ирония, потому что предмет иронии — это прощание навсегда. Разлад иронии с собой — самоубийственен. Ирония иронии возможна, но когда она становится действительной, «второе» отрицание не дает развития, в иронии нет снятия, но есть простой отказ и отступление в предыдущее. Ирония линейна даже в полифонии, которой не знает, и потому возможная множественность «ироний» не могут суммироваться, оставаясь одновременными и безотносительными, и не превосходят одну единственную. Одиночество иронии, ее определенность ошибочно принимается за ясность сознание, которое путается с сознанием ясности и создается путь, некое движение, совпадающее с путем, принимаемое за рост, а это всего лишь формальное перемещение. Ирония прерывается так же спонтанно и внезапно, как и возникает, в одночасье и сразу, упраздняясь.

Ее достоверность в том, на что она покушается, при этом делая действительным, оправдывая и не прощая ничего, прощая все. Но никто еще во всей этой странной истории с иронией не знает, где она кончается и становится сарказмом, или давится тупым юмором, она случайна, но случайна неизбежно, рядясь в необходимость и намекая на что-то самоочевидное, нельзя сказать, что она парадоксальна, но можно доказывать это с пеной у рта. Она односторонняя, но совершенным образом плоска. И объясни, с чего бы это она превращается в меланхолию, тоску, или взрывается остротой. И опасаешься это делать.

К тому же, она всегда «к тому же» и одновременно «не при чем», удивительным образом никогда или всегда, не противореча себе. Пародия и полинодия. Рекреация иллюзий. Ирония шантажирует имманентностью, как эквивалент предмета, предметом не являющегося, но по существу представляющий, репрезентирующий, манифестирующий себя как апостериорная предметность. Здесь является контрадикция представления и восприятия, контрадикторные противоположности, когда вместе одновременно они не могут быть ни истинными, ни ложными, взаимоисключая друг друга, но зато одновременность выступает как данность, во всей полноте и сразу. И здесь ирония является в чистом виде, как противоречие временящее, поскольку дана она как «вся» одновременно и непоследовательно и aposteriori укоренена в прошлом, но apriori проецирована в будущее. Хотя ее непоследовательность — всегда следствие. При этом претендует на статус метода, или хотя бы быть этиологией — учением о внешних причинах, изо всех сил стараясь сохранить ариофору (безразлиие), апатию (бесстрастие) и демонстрируя автаркию — независимость от внешних обстоятельств. Намекая, что это и есть явление свободы. Потому она так тесно связана с суждениями вкуса, попросту — со вкусовщиной, и вопреки иллюзии беспристрастного суждения, даже если это многозначительное молчание, полностью подчинена причинно-следственным связям. В «Эстетике утраты иллюзий» Ж. Бодрийяра достаточно красочно расписан этот процесс интоксикации иронией в современном искусстве. Портит сентенции француза только торжествующий пафос деклараций и некое злорадство. Такое впечатление, что ему очень хочется, чтобы так было, и он с нескрываемым удовольствием пинает издыхающее искусство, как-то демонстративно не замечая, что оно-то не виновато, а ампутированное воображение — закономерный результат совершенно определенных общественных отношений, которые сознательно избавляются от всего человеческого, как от излишков и издержек производства. Отсутствие воображения и фантазии — словно фантомные боли, принимаемые за муки также отсутствующей совести. «Искусство стало иконборческим», — декламирует Бодрийяр, — «Современное иконоборчество состоит не в том, чтобы разбивать образы (и уж конечно не в том, чтобы их развивать — *А. Б.*), но в том, чтобы создавать образы (на самом деле воровать и множить их, мультиплицируя, тем более что каждый образ — проходимец, он сквозной, а не вещь-в-себе, он вообще не вещь, а процесс. Некое подобие образа может быть произведено

как результат фетишизации товара, где образ — только подобие вещи — конура очерченного контура. Остановленный образ протухает мгновенно, именно поэтому все искусствоведение, препарирующее образы в анатомичке, совершенно не состоятельно. Воспринимая образ как нечто, оно попросту живет как вампир, кровососущее, пиявка, клоп, вошь, веешь, уничтожая образы на корню, паразитируя, но это особая тема — *А. Б.*) бесконечно нагромождать друг на друга образы, в которых нечего созерцать. Это, буквально, образы, которые не оставляют следов. Они, собственно говоря, не имеют эстетических последствий. Но за каждым из них что-то исчезает» (с. 3). И далее: «Обратной стороной потери иллюзий мира стало таким образом появление объективной иронии мира», как лжа, его разъедающая, как поражение насмерть «ироническим излучением», облучением иронией. Лихо. Ирония угрожает перерасти в откровенный цинизм, но не в этом суть, а в том, что чистая субъективность, без объекта, став в своей моноиндивидности тотальной, претендует на то, чтобы распространить свою экспансию на всю вселенную, оккупировать весь мир, поглотив его, испытывая нестерпимый зуд уже не к невольной вольности случайной свободы, но в сознательном желании обхамить и хамство сделать способом и методом самоутверждения, утопив все в частном мнении и в еще большей степени самомнении. Это рост плесени. И пугает одинаковость этих процессов вне зависимости от специфики видов искусства. Этому в равной мере подвержены живопись, музыка, во всех проявлениях, философия, ну и т. д. Но мера-то ложная, подмененная, фальшивая. И речь идет уже не только, к примеру, о достоверности музыки, но об оправдании самого бытия искусства, которое изолгалось, но... но зато лжет по правде. Вдохновенно врет об истине. Можно сказать, что Объективного духа несло. Да, конечно: «Живопись отказывается от самой себя, пародирует саму себя (так все же себя — *А. Б.*), изблевывает сама себя. Пластиковые отбросы. Застекленные, замороженные. Администрирование выделений, иммортализация выделений. Здесь нет даже возможности взгляда, здесь нет перспективы касания, нет мотивации касания, нет мотивации прикосновения, и в самом прямом смысле этого слова — это Вас просто не касается. Это Вас не касается, так как оставляет Вас безразличным». Однако причина вовсе не в состоянии живописи, а в том, что вызывает эту реакцию самоотторжения. Это защитная реакция, иммунитет от жизни. Консервация. Узаконивание свалки. Имитация своеволия, настолько

самодостаточного, что отказывается от возможности быть, отрешение от возможности. Внутреннее, нутряное необъективное. Гипертрофированное «Я» без когито. Оставляет в неприкосновенности, неприкасаемости. Ирония — прикосновение по касательной. А также поперек, по параболе, и во всех направлениях. Не особо радостно, когда в сутолоке мира тебя ощупывает и лапает искусство, в самосознание бесцеремонно вторгается философия, пусть самой лучшей выделки, а возвышенным и утонченным тебя пытают, пытаясь вживить, как электроды, в спинной мозг, для получения пароксизма удовольствия, выдаваемого за цель и смысл жизни. Для операций со вкусом вполне достаточно кантовской критики способности суждения, особенно теперь, когда теоретический уровень оставлен, а все сведено к реакции на раздражитель, без эстетических последствий, какая там теория, сплошной ползучий эмпиризм, круто смешанный с оголтелым прагматизмом. Здесь нет даже животного интереса.

По существу, почему разговор об иронии все чаще возникает сейчас? Сразу скажу, тому есть бесчисленное множество причин — и ни одной (она та же, что во времена Сократа, и другая, в каждый момент). Первая — ирония вполне соответствует современности, поскольку является апологией эклектики, которая в свою очередь — продукт распада. В свое время Фр. Шлегель называл цинизм, с его презрением ко всему возвышенному, устоявшемуся, святому — возвышенной иронией. Нынешний цинизм уже не в себе — это даже не униженная ирония, а уравнивающая, втаптывающая бессильная злоба самодовольного индивидуализма, который собственно рылом до иронии не дорос. Да оно и ни к чему. Зато использует иронию как идеологию вседозволенности. Поэтому есть соблазн ссыпать насыпом ворох проблем, выражений, не ограниченных никакими условностями, и, думаю, срастется. Как взвесь на поверхности жидкости, все это механически соединится. К тому же формальное единство расщепленного на элементарные частицы мира позволяет это сделать. Флуктуация смыслов. И возникает соблазн, которому охотно поддаешься. Уникальность нынешнего, если поддаться искушению иронией, что можно писать во всех смыслах про-из-вольно. То есть сверхзадача — создать совершенно несвязное, бессмысленное произведение, возродить первозданный, архаический хаос в детерминированном мире. И вдруг оказывается, что это невозможно, поскольку все сковано намертво. И благодаря сверхплотности и сдавленному под большим (само)давлением времени ты либо достигаешь, образно

говоря, состояния плазмы, где все неопределенно, либо просто производишь качественный бетон текста, ну или, чтоб красивее, — монокристалл. А вот онто не прошибаем. Многие замечали, что интереснее всего сейчас читать комментарии, чем сам отделанный текст. Причем комментарии ни к чему, без основы. Новая скорость прочтения, да что там — скорость восприятия. Интересней мелькание, процесс смены, стыки. Кинематографичность. Междукадровость внешнеприложимого изменения. Которые воспринимаются как разрывы-отношения, которые невозможно разрубить, и в этом мелькании воспринимать целое, нет, не как в кино — это пройденный этап, а так, чтобы видеть и погружаться в чистое движение, наконец, самим быть этим движением, не отличая себя. Проще, чем вдумываться и переосмысливать смысл сказанного, мыслить некогда, самосознание отброшено за ненадобностью. Даже рефлексия отсутствует. Движения поглощенного духа, для которого вся история его происхождения анонимна, да и при чем здесь имена — с одной стороны, и с другой — мелькание вещей в потреблении, в готовом законченном виде, без создания и происхождения, простым накоплением, в котором достаточно самоидентификации. (У меня просто смелости не хватит высказаться более определенно. Нет, не трусость, а просто это бессмысленно нехорошей бессмысленностью —делать какой-нибудь базар гайд-парком. Поставить трибуну и говорить торгашам о единстве трансцендентальной апперцепции, хотя как знать, сейчас на рынках половина кандидатов наук. Собственно об иронии если писать, то так, чтобы это имя, слово ни разу не фигурировало в течение всего текста, а было ясно, что все до последней точки о ней, ею, за ней и вместо нее. Ирония — «вместо». Вопрос ведь в том, как выработать равное противодействие. Ирония иронии не подвластна. Ни на каком безмене противоречия ее не взвесишь. Приравнивание и достижение устойчивого неравновесия ничего не решает. Так к чему выделывать траурные галсы, совершая эволюции.) Так вот, о соблазне, который «скандалон» на древнегреческом. Суть в том, что помимо нечистот и брезгливости, с которой я отношусь к свалке и к свальному греху случайных форм, ирония производит и некое, спасающее от паники и капитуляции, действие, и речь не о том, что ни одна машина никогда не сможет иронизировать, как и мыслить. (Так что к моему несказанному удивлению знаменитая некогда работа А. С. Арсеньева, Э. В. Ильенкова и В. В. Давыдова «Машина и человек, кибернетика и филосо-

фия» (1966) по-прежнему не устарела, и это не тот случай, что в истории философии, где старения не происходит. Это показывает, что, как всегда, многие тупо ничему не учатся, в отличие от умного ученого незнания, да и философы «четвертой волны» в своих технократических изысках, особенно в критике, вполне убедительны, «ирония техники», которой стращал Бодрийяр, по-прежнему впечатляет, Фридрих Юнгер со своими штудиями «Совершенство техники», «Машина и собственность», хоть и случайно, судя по его другим произведениям, но схватывают саму суть проблемы, видя ее совсем не во взбесившемся орудии, исповедующем технологию как идеологию, но в самом способе производства и так далее, не говоря уже о К. Марксе, у которого стыдливо дерут идеи.) Речь о том, что в моем случае происходит размывание границ и видов искусства и самих методов организации, что неудивительно, но теперь можно философский текст строить не только поэтически, архитектурно, живописно, но музыкально в буквальном смысле, и, что удивительно, так было всегда, поскольку тексты развиваются со временем истории. Оправданы повторы, репризы, каденции и любые причуды, не несущие смысловой нагрузки.

Эклектика, удерживаемая иронией ввиду, при всей моей неприязни к ней и ее сволочному характеру, вернее, бесхарактерности, напоминает коллайдер и позволяет отслеживать не только тихий органический рост смыслов, драму идей, — это как раз не в ее компетенции, — но и постигать «физику» внутренней формы слова, формально сталкивая и бомбардируя микросмыслы, наделенные невыносимой энергией, получать новые «элементарные частицы», а главное — процессы, неведомые досель. Ирония — ускоритель, смешной «прикованный Мефистофель». Так что вольно и в мире эклектики, которая связана внешней формообразующей и разрушающей иронией, под сурдинку, тихой сапой делать то, что хочется, а не то, что случайно случается. Запросто перевести текст на язык живописи, архитектуры, музыки, театра, но еще интереснее все это строить негодными средствами, к примеру, писать музыку философии, всем, что ни попадя, поскольку это единственный способ быть собой, занимаясь оркестровкой философских идей.

Эка удивил, думают те, кто читает, это же и так ясно. Нет, не ясно, поскольку планирование и организация книги — это одно, а здесь имеется ввиду поэма (о) совершенно пространной импровизации, странном просторе

импровизации, который и есть эта импровизация, но, в отличие от грандиозного, например, звездообразования, является сознательным и включает чувства в собственное развитие. Впрочем, это не приживется, так как с развитием и уплотнением (созданием новых коммуналок, где, хошь не хошь, а электроника паруется с музыкой, архитектура занимается возведением огромных огурцов, философия мостит халабуды из томов предшественников. Где бдительно охраняет с дробовиками, заряженными «солью бытия», бахчи с дынями, гарбузами и кавунами, будущие шедевры на продажу) пространства, совершенствованием носителей, необходимость читать будет привилегией избранных, ну, как сейчас чтение на умерших языках, да и фиксированная пойманная импровизация — это уже не чудо, а чучело. Те, кто пишут, и так в большей степени таксидермисты, чем творцы живого, а то и конструкторы (констрикторы), что-то ваяющие из отбросов. Искусство вдыхать жизнь закончилось, и теперь этой тайной владеют факиры, показывающие курочку-невидимку и раздающие слонов. Искусство выдохлось и находится при последнем издыхании. Его держат на аппарате искусственного дыхания. аппарате жизнеобеспечения, поскольку без искусства невозможно эксплуатировать огрызки чувств, подавлять остатки человеческого. Просто мне же надо как-то оправдать весь этот хлам, который я пытаюсь представить в виде композиции, а еще пуще — импровизацией (как всегда, тайно ждешь, что кто-нибудь скажет: «ну что ты, старик, это же так все продуманно и сделано...» Шучу, шучу).

Во-вторых, — и это мало кто видит, — ирония соответствует самой природе механического времени, которое производится в избытке. Его экономическому диктату и идеологии. Напомню, что не «веремя» заставляет все приходить к своему концу, а, напротив, время — есть нетость, лишенность и потому наличное бытие своим прехождением прехождения восстанавливает вечное движение, уходя в ничто как свое основание, утаскивая с собой и свободу и красоту, но возвращаясь, движение сотворяет пространство и время. Однако кажется и видится, что время уносит, уничтожает, унижает, лечит и т. д. Во всеобщем движении превращений — это не истинно, но правдоподобно. И тем не менее воспринимается как догмат. Своего рода диктатура иронии. Тотальность ее, которая придает действительности иллюзию механического, внешнего единства, абстрактную сумму частей, собранных по внешнему признаку в случайных соотношениях, объединяет в общее всем безразличие еди-

нообразия унифицированности формального отрицания. В рамках необходимого и достаточного не обязательно знать всю правду, просто правду. Ложь, которая является заменителем воображения, фантазии и самосознания, вполне успешно функционирует вместо, на месте, успешно имитируя даже себя, притворяясь собой взаправду.

В так называемом «гражданском обществе», уже привыкшем к вони, искусство — только отражение запаха, чтобы время оставалось «внутренней формой созерцания», а «пространство — внешней». На всякий случай. Всякий! Оставаясь при иллюзии, что и пространство и время не обладают объективной реальностью. Хотя как раз наоборот, объективность на деле производится самим делом и отнюдь не частным. В единичном опыте время и пространство только присваиваются, своятся, осваиваются и персонифицируются, предполагаясь некоей всеобщностью, в своей реальности и объективности не являясь ни внутренней, ни внешней формой созерцания, а объективной, созданной отрицательностью, предстоящим как объективное созданное ничто освобожденного бывания. Ирония при этом позволяет оставаться в очень узких рамках (настолько узких, что там уже нет места не только продуктивной способности воображения, а просто искусству и мастерству в рамках корпоративной солидарности), на истоптанных площадках мест общего пользования, как-то: фестивалях, выставках, конкурсах, концертах, симпозиумах, конференциях и т. п. В пределах положенной благопристойной скуки. Долго можно расписывать, но, право, смешно сказать, «положа руку на это дело», насколько примитивны забавы, да и культпродукция того, что составляет свалку так называемого современного искусства. Представители его должны поставить памятник Геббельсу, Герингу, Розенбергу и прочим, потому что эти и прочие выдали им индульгенцию на все времена. И думать не моги, не то что критиковать, но и просто усомниться в «истинности» или хоть, хоть как хыть, «подлинности» (только подлость и подложность) предлагаемых объектов, фильмов, театральных постановок, ну, и философских сентенций, освященных мифической стоимостью. Сразу поднимутся вопли и обвинения в лучшем случае в хрущевщине, а в худшем, в фашизме, а между тем эта де-генерация и есть фашизм в чистом виде. При этом бросается в глаза совершенно не обоснованные и потому неуязвимые, от фонаря, покушения, например, на романтизм. (Наум Берковский в гробу перевернулся, если бы узнал, что сейчас романтизму инкриминируют.) Из него,

якобы, вырастает фашизм. (Который может расти из чего угодно, вменять фашизм в вину романтикам, а то и Гегелю и даже Платону — то же самое, что Баха винить за то, что его исполнял «оркестр смерти» в Освенциме, а Бетховена за то, что его бесподобно исполнял Фуртвенглер перед гитлерами. Конечно, лучше бы плюнул в харю и произнес: «мир ловил меня в свои сети, но не поймал». Бетховена великолепно исполняли и в блокадном Ленинграде, надо напомнить.) Романтизм немецких романтиков, их ирония, были направлены на расчистку чувств от окаменевшего дерьма, предрассудков и прочей мертвечины вовсе не для того, чтобы разрушать человеческую сущность или третировать те же чувства. (То же относится и к так называемому неоромантизму Гофмансталя, Стефана Георге и др.) Фашизм вырастает не из романтизма, он есть смысл и завершенный результат, душа капитализма, поэтому в рамках его не может не быть. Я к тому, — скромно оставаясь в теме, — что ирония, которую именуют пышно методом романтизма, здесь и вовсе не при чем. К слову сказать, что и сократическая ирония направлена была против софистов, равно как и схоластики, к которым я питаю вполне положительные эмоции, дело-то прошлое, но в нынешнем времени происходит «реверс», «перевертыш», и не софистика вызывает к жизни иронию, а напротив, ирония обязательно провоцирует неософистику, которую тут же насилует в извращенной форме, утверждая свою единственную реальность... Точно так же наделяется иронией время, ирония всех устраивает, поскольку она — твое частное дело, объективной иронии не бывает. Этот симбиоз времени и иронии как раз и сотворяет то, что Спиноза называл «Ideatum». Интерференция, наложение волн времени и иронии.

В известном примечании № 15 к работе «Приложение, содержащее метафизические мысли...» к знаменитому трактату Спинозы «Основы философии Декарта, доказанные геометрическим способом» объясняется: «Термин “ideat” означает у Спинозы предмет или содержание идей как мыслимых сущностей. Мы передаем его в дальнейшем словом “объект” или реже словом “содержание”. Чтобы отличить это понятие от понятия “объект” (objectum), которое иногда переводится словом “предмет”, в скобках дается его латинский эквивалент (ideatum)» [2].

При полном несогласии с тем, что можно термином «предмет» спокойно заменить «идеатум», о чем можно долго распинаться, я по-аглицки выражусь так: боюсь, что идеатум и предметность — не одно и то же, как идеат и пред-

мет. Да, конечно, предмет не совпадает с вещью, предметность — с вещностью, и выходит далеко за пределы непосредственной полезности и возможного человеческого опыта. Опредмечивание не эквивалентно овеществлению (овеществелению), хотя и то и другое происходят на одном основании, вернее, одним основание, как единым процессом. Так, предметность музыки не в ней самой, а в ее самоотрицании, что и позволяет ей пребывать в себе, как некое движение. Если говорить о предметности искусства — то же самое. Не то же самое только с чувствами. Да, они, как и искусство, собственного саморазвития не имеют — только собственно самоуничтожение, однако действуют так, будто они и есть становление вне пространства и времени и проблема начала их нисколько не занимает. Однако идеат — это несколько иное, причем иное всегда, вроде микроидеологии, формального случайного принципа, как если бы то же и другое воспринималось одновременно, это переходная форма, которая не форма вовсе, то есть превращение во всей своей полноте, но и не только — это еще и диктат превращения. Искажение сущности при помощи накладывания внешней формы, для получения результата. К примеру: «все, что возникает, должно умереть» — это «должно» не обосновано, и именно потому, что не имеет никаких оснований, обретает власть как идея, требующая воплощения. «Если это не так, то так должно быть». Это наделение произволом того, что даже воли не имеет. Время вполне равнодушно, но наделяется волей к уничтожению. Идеологией, не допускающей никакого инакомыслия, пусть даже это будет идеология плюрализма. Само время никакое. Ирония становится модусом времени. И тоже «никакая». А модус — это все состояние времени от истока и до устья, и все качества иронии. Оная же собственного качества и количества не имеет, а уж о сущности и говорить не приходится. Она живится чужими качествами, которые отражает, как рефлекс в живописи, даже не преднамеренно. Ирония ни за, ни против, она — тавтологична, в беспамятстве, и иначе не может. Она — тот единственный, неповторимый, беспримерный, беспредметный, беспрецедентный, опрометчивый и т. д. шаг, который предпринимается в безвыходной ситуации, когда оснований и причин его делать нет: он делается простым волевым усилием, как шаг в бесконечность, без знания, что получится, «только-не-это» и «это не то, что», которое начинается сначала. Начало положено, «а вот дальше...» Когда время становится герметичным и у него нет выхода в беспросветности,

в спертом пространстве оно шампанизируется, особенно если лезут в бутылку, настаивая на своем или просто пребывая в безнадежности. Ирония — шампанизация закрытого времени. Но взрывоопасность ее только изображает произвол. Она вынуждена быть собой, когда ничего нет, и остается только выходить из себя, взрывая ситуацию в поисках выхода. Да она может быть и озоном, предгрозьем, наконец, превратится в остроумие, искрящееся, но может, задохнувшись, обратится в угрюмый скепсис или цинизм, уж никак не древний и не романтический, а бессмысленный, наконец, трудно провести грань, где из вполне человеческого ирония оказывается жестокостью, хамством или подлостью, всяко с ней бывало, и нет той ограниченной формы, в которую она не может обратиться, поскольку она не в себе, она всегда о другом. Она не возможность, не бытие-возможность, она — «допуск» в ублюдочном мире персонифицированных, унифицированных форм, без бытия. Щель, в которую можно забиться и забыться. Субъективность как таковая. Индивидность, пожирающая все и создающая пустоту, особенно, когда ирония становится негласной идеологией, уравнивающей всех, нивелирующей все. Она — всеобщий эквивалент, позволяющий легко манипулировать массами. Став идеологией, ирония начинает говорить на «жаргоне подлинности», который так блистательно раздраконил Теодор В. Адорно в одноименном опусе. (И явно неспроста подвесил подзаголовок «О немецкой идеологии», оглядываясь на К. Маркса.)

Гельфинд некогда остроумно сказал: «есть науки естественные, неестественные, противоестественные и одна — сверхъестественная». В данном случае речь о науке вообще не уместна. Никакой особой философии иронии нет и быть не может, как уже говорилось, зато ирония философии не только может быть, но ощутима очень действительно. Ирония — формальное внешнее отрицание, которое собственной сущности не имеет и остановиться не может, даже если превращается в цинизм, остроумие, тупость, глупость, пошлость, возвышенное и т. п. Она — не новый взгляд на устоявшееся. Это не бинокулярное зрение, не два фокуса, а астигматизм. Это разница между зрением в упор и боковым. Где кончается ирония и начинается другое? Можно бесконечно выяснять эти и подобные вопросы, сравнивая и устанавливая сходства и различия. Все, что ни скажешь, оправдано, — даже то, что не скажешь.

Торжествующая декларация сомнений, сдвиг, обнажающий скрытые пла-

сты пространства, которое не на месте, неуместно. Неуместная ирония. Дальше того, что ирония — притворство — троп (тропами иронии?), в котором истинный смысл сокрыт или противоречит смыслу явному, как правило, не идут [3].

Кроме того, лучше ирония, чем откровенное безразличие, хотя порою кажется, что точность в том, чтобы пройти незамеченным. И главное — вовремя уйти со сцены. В любом случае ирония — последнее, что остается, имитирует свободу ввиду отсутствия оной, разбегание во все стороны («разбегающаяся вселенная», создание новых территорий, изображающих неведомое, захват и освоение «ничто», созидание его), лишь бы была хоть какая-то имитация движения. Шевеление мысли. И целая колония пустых проблем, порожденных пустым знанием. Это пустознание приходит из мира информации по принципу «знаете ли вы, что?». (Лет тридцать назад в «Лит.газете», выходившей тогда миллионными тиражами, было на 16-й странице сообщение: «Знаете ли Вы, что? Самое распространенное имя в Испании — Хосе, а самое редкое — Иван Иваныч», так вот, нынешние из этих.) Нет смысла разбирать причины, но они воруют и время жизни и свободное время. Времясосущие. Проблемы-гельминты, паразитирующие на возможностях и невозможном, и выдающие себя за «вечные», убивающие время жизни. Человек, потребляемый компьютером, становится его плохим придатком, хранителем ложной бездны и попросту дурацкой информации, да еще пребывающим в беспамятстве. Я не задаюсь вопросом, хорошо это или плохо, потому что сразу образуется каста ревнителей, которые начнут этим процессом чистоты и частоты потребления руководить, надувая в прямом и переносном смысле. Об этой стороне дела речь не идет. И дело, конечно не в Сети. Беспокоит создание при помощи мусора такого вакуума в современном мире, что никакая ирония не только не спасет, но и по-просту становится невозможной. Избавление от нее происходит простым способом опускания существа дела и организации этого дела таким образом, что ниже ирония опуститься не может: нет предмета, к которому можно отнестись. Не только потому, что не будешь иронизировать над убогим и иронии не в чем отразиться. Нет. Ну и шут с ней. И вот этот страшно серьезный мир пытается веселиться, а не получается. Такое впечатление, что им, как в студии, показывают табличку «смейтесь», но поскольку не смешно, то заодно включают фонограмму смеха, уж не помню, кто первый додумался. А те немногие, кто способен еще хотя бы иронизировать, хотя Гегель совершенно прав,

когда говорит, что это самый плоский способ быть остроумным, пользуются тем, что их пока еще никто не ловит, и ловят мгновения свободы, занимаясь пустопорожним делом «самореализации» «стремлений к ускользающему благу» (Гёте).

«Короткая бесконечная свобода», вернее, ее иллюзия, потому что ирония — то действие, без которого можно вполне обойтись. Столько написано, что в рамках необходимого и достаточного проблема, для того, чтобы работать над ней, исчерпана. Вот оно — это свободное действие, выбрасывающее стрелу, направление в бесконечность не обусловлено. Более того, ирония из чистой субъективности представления-мнения превращается в угрожающую объективность. На том простом основании, что, строясь на формальном отрицании, заставляет все прошлое, настоящее и будущее отказываться от тебя. Превращая в недоумие и оставляя иронию наедине с одномерным самомнением. Прививаясь к любому наличному бытию, к процессам, к ставшим формам, ирония напоминает детский калейдоскоп с бесчисленными зеркалами и бесконечным количеством граней. Все зависит от угла зрения. Встряхнул мир и получил новую картинку, которая, как всегда, не то, что хочешь увидеть. Как только ирония начинает что-то утверждать безотносительно к предметности, она немедленно окрысивается против себя, стремясь к уничтожению. Хотя потрясать мир — ее прямое назначение. Это взламывание штампа при помощи штампа.

Allez Vergangllche ist nur Geichnis;
Das Unz ulangliche, Hier wird's Ereignis;
Das Unbescheiblidne, Hier ist's getan;
Das Ewig — Weibliche Zeit und Hinan.

Все преходящее — только подобие, недостаток, несовершенное;
Здесь оно становится событием;
Неописуемое оно со-вершается, делается, вершится;
Вечно женственное влечет нас сюда.

Уверившись в этом, напрочь забывают, что все преходящее — не преходяще, сливаясь с вечным движением, так, что ирония делается событием, только в отношении к покинутому, а ее цельность — тотальность иронии в движении, а не воздержании от него. Так, толстовское воздержание от жизни тем и па-

костно, что декларируется когда уже ничего не можешь, хотя можно уже все. И уж конечно не надо из жизни делать образцовый хоспис. Что примечательно, так это наглость иронии, а не то, что она возникает. Ошеломляет сшибка совершенства иронии и незавершаемость дления, что делает ее очень современной. Настоящее — это ирония, которая находится в бесконечном движении и никак не может остановиться. Только затухать, обессилев. Реверберация. Бесподобность иронии. Что бы ей ни приписывалось. Она стерпит. Это страстотерпение, скрежет зубовный претендует на роль смысла жизни, которую надо перетерпеть со всевозможным смирением. Ирония не вносит смуту. Она претендует на внесение ясности и отнимает желание дышать.

Попытка унизить бесконечность. Сравнивая ее. До основания. Основания иронии в ином, на которое наталкиваются случайно и тем утверждают свою инаковость. Именно поэтому ирония не дорастает до понятия и тем более до эстетического суждения, но делает вид, что устремляется к нему как к своей цели. В то время как неприкрытым остается очевидное: ирония — самоцель. Она претендует на то, чтобы быть формальным совершенством, законченной целостностью, тотальностью, «представлять собой формальную объективную целесообразность без цели, т. е. одну только форму совершенства (без всякой материи и понятия о том, что приводится в согласие, хотя бы это и было лишь идеей закономерности вообще)» — совсем по Канту. Ирония рядится в маскарадные одежды вкуса, оставаясь безвкусной и безыскусной, вкусом не являясь. В силу того, что она идентифицирует себя с субъективностью без объекта и потому сама себе объективность, ирония разрушает себя, претендуя на суждение вкуса, манифестируя как «формальная субъективная целесообразность», намекая, что она и есть красота. Напомню: «Суждение вкуса есть эстетическое суждение, т. е. такое, которое покоится на субъективных основах и определяющим основанием которого не может быть понятие, а значит, также понятие определенной цели» [4]. О том же и в работе «О применении телеологических принципов в философии», так что ирония вполне может «работать» как способ «отыскания технической способности суждения». Кантовский приговор вкусу: «... эстетическое суждение есть единственное в своем роде и не дает решительно никакого познания (даже и смутного) об объекте; познание дается только посредством логического суждения, тогда как эстетическое суждение соотносит представление, посредством которого дается объект, ис-

ключительно с субъектом и показывает вовсе не свойства предмета, а только целесообразную форму в определении способностей представления, которые занимаются этим предметом. Суждение называется эстетическим именно потому, что определяющим основанием его есть не понятие, а чувство (внутреннее чувство — которое временит, рождая чувство времени как внутреннюю форму созерцания, хотя временем не является, являясь временами, упраздняя объективность времени, наделяя его чувством — *А. Б.*) упомянутой гармонии в игре душевных сил, коль скоро можно ее ощущать» [5]. Все рассудочное формальное деление красоты, которая неделима, на свободную красоту (pulchritude vaga) и чисто привходящую красоту (puchritugdo adhaerens), безусловно, верно только для относительности прекрасного, но не для красоты. Но беспомощно, когда разворачивается чувственно сверхчувственное, где цель не в познании, здесь вообще нет даже целесообразного без цели, смысл в создании из ничего. Здесь не познают, а создают, и чувства, при том, что основанием их служит проистекающая до меня вечность и вся последующая, все развитие универсума, не знают начала, причинно-следственных связей, мотивов, оснований и существуют объективно, даже если не воплощаются, как чистое единство бытия и ничто. Ирония их не касается, не достигает их. Они рождаются из бесконечности ничто как абсолютные, обособляются и снисходят до ощущения, чтобы слиться в едином. Ирония привязана к месту, но по отношению к чувствам неуместна. Она — всего лишь качествование овнешненности, случайный предикат прекрасного, которое — идеальная вещь, совершенная в своем роде. Обнаружение качественного совершенства вещи. Представление ее возможности. Безапелляционное определение, чем она должна быть и чем она не является. Немногие понимают всю грандиозность кантовского решения и всю трагическую провальность критики способности суждения. Вряд ли Кант осознавал это, но в силу упрямой честности, по-фаустовски он «дух прийти заставил, но удержать его не смог», — то ли смалодушничав, то ли убоявшись собственно стихии чувств, пытаясь урезонить их природу или игнорируя, стал обуздывать их рациональными аргументами, подводя под понятие, наделяя формальными значениями. Ирония здесь хозяйничает безмерно. Но Кант, установив пределы, сам же их и разрушил, все время ссылаясь на непостижимое, на свободную красоту, не присущую ни одному предмету, стремясь если не обуздать чувства очередной классификацией, создавая гербарий, то отказаться от них

вовсе. Скальпель иронии режет по живому, предписывая правила согласования вкуса с разумом, прекрасного с добрым и унижая чувство принципом удовольствия, совершенно справедливо утверждая, что «красота не выигрывает от совершенства, а совершенство не выигрывает от красоты», «выигрывает вся способность силы представления», которую узурпирует ирония, беря на себя роль судьи, примиряющего свободную красоту с прекрасным. Она — цель и привходящее свойство, между чистым и прикладным суждением вкуса. (Своеобразно воспринимал сие наивный Кюхельбекер, Кюхля: «Вкус не деятелен — отрицателен». «Непременный всеобщий закон вкуса подобным образом есть отрицание: “Не твори ничего такого, что признаешь противным лепоте”».) Но там, где вступает в свои права суждение, красота уже покинута, и временный антагонизм красоты и прекрасного игнорируется. Впрочем, это предел эстетики как формы форм, и она вынуждена либо нарушать запреты логики, не только формальной, но и диалектической, либо разлагаться в селекции форм, множа их в бесконечности, видя в иронии единственный выход не знамо куда. Так что ирония в своей недостаточности оказывается отдушиной, вернее, отсрочкой от окончательности. Ирония диктует себя как идеал — «представлением о единичной сущности, адекватной какой-нибудь идее», только идеал без идеи, то есть прообразом воображения. Отсюда — фривольность иронии, позволяющей красоте быть неопределенной и нарушать идею нормы, правила нормы и даже грамматики. Ирония начинает претендовать на статус образца. (А образцы вкуса, по Канту, должны быть составлены на мертвом и ученом языке; на мертвом — дабы не подвергаться изменениям, которым неизбежно подвержены живые языки, когда благородные выражения становятся плоскими, обыкновенные — устарелыми и в оборот на короткий срок пускаются вновь образуемые выражения; на ученом языке — для того, чтобы этот язык имел грамматику, которая не подчинена прихотливым переменам моды, а сохраняет свои неизменные правила [6]. Подстраховался мудрый старик (которого обычно упоминают все, кому не лень, чтобы «потрепать» и третировать), да вот беда: ирония первая противится этому и решительно разрушает стереотипы, стремясь к живой жизни. Кроме того, ирония стремится к эстетичности, образуя область чистого интереса. К ней обращаются просто так, безо всякого предубеждения, до тех пор, пока она не теряет себя, превращаясь в жупел идеологии.) Она — необходимый фермент любого превращения и трансформации.

Заключение от частного к общему и наоборот. Апелляция от конечного к бесконечному или от конечного к еще более конечному как образ бесконечного отрицания. Возвратная ирония. Снисходительное превосходство ее.

Поскольку современность строится на дроблении времени и его абсолютизации в субъективности, свертывающейся в пассивной индивидуальности, и, наконец в индивидности, то стилем и выразительным брэндом эпохи становится эклектика, причем во всей всеядности, даже не в духе Александрийцев, подбирающих все, что может пригодиться и не гнушающихся падали чужих идей, и отработанных тоже. Простое суммирование. Нет, сваливание «до кучи» разностей в причудливых сочетаниях формального многообразия разнообразных «не...» без законченного «т». Очевидность иронии не очевидна. Она декларируется и является скорее символом веры в собственную непогрешимость и правоту. (В духе Ахматовой: «как струится поток доказательств несравненной моей правоты», — весь смысл в непрерывности действия, вернее, возможности действия или недеяния.) Смысл иронии всегда в другом. В чужом. Она — акт отчуждения, причем стремящийся к обобщению в абстрактной бесконечности. Образ иронии — «таким образом» или иным. Дальше мнения ирония не простирается, она не может идти дальше, не превратившись в иное. Как момент начала, она необходима диалектике, но приблизительно так же, как антагонизм, является моментом разрешения всякого противоречия. Когда ирония впадает в дальнейшее, она ограничивается «И. т. д.». Но поскольку с достигнутого «далеко», с отстороненности и остраненности иронии предмет выглядит иначе, то следует дальнейший рассказ, пересказ исходной предметности, но вместе с возвращенным взглядом, который как возвращенная молодость. Это что. Вот ирония провоцирует писание в длину, поскольку манит своей законченность.

Вот-вот — и неуловимость закончится. Ан нет, она стягивает в гравитационную воронку все новые смыслы, и такие надежные слова становятся пустыми и безнадежными. Поветрие иронии — это все же симптоматика болезни, когда «поветрие» — всегда о моровом, а не мировом, всегда о чуме или язве и прочих радостях. Все тонет в повествовательных перечислениях оттенков, которым не на что упасть. Время в иронии тощее, диетическое, абстрактное. Только и годиться на короткий феноменологический сюжет в статических картинках. Поэтому лучшим выражением иронии были бы записные книжки, за-

писи на обрывках папиросных коробок, клочках бумаги, случайно подвернувшихся квитанциях, билетах, программках и т. п. И сразу утерянные.

Ирония противиться феноменологической редукции, всевозможным дискурсам (хотя и мечется «туда-сюда») и всяческим описаниям, повествованиям и нарративному письму. Narr — дурак, шут. Нарративность — дурачество. Гиштория. Ирония как дуракаваляние. Она рядится и прикидывается, передразнивая идею, насмешничает, скоморошничает или начинает говорить загадками, создавая сказки, и далее, по В. Проппу, и внезапно обнаруживается, что и миф — сознательная утрата, избавление от истории, отказ (раз история вовремя не рассчиталась со временем и не обрела своду), ее устранение, а вместе с тем забытие исторической памяти в ретроградной амнезии провоцирует создание новой мифологии, как практики фашизма, поскольку миф, пусть даже это всего лишь безобидная мода, всегда репрессивен. Это сознательное и объявленное сакральным действие — теоретическое восстание против идеи свободы — зло, как осознанная необходимость. По крайней мере, начинаешь видеть то, чего в мифе нет вовсе — все ту же иронию, которую не усматривали ни Е. Мелетинский ни Я. Голосовкер, ни А. Лосев — далее по Интернету. Перебор вариантов, ложная эрудиция, отчего не сыграть в подкидного дурака? Никакой опасности. Все же занятие, хоть и порожденное механической скудостью бытия, но способ ее же переждать. Это чревато мутированием иронии в злобу и ненависть, которые доказывают свою достоверность и реальность требованием «окончательного решения». Идеология среднего класса и вообще гражданского общества исходит мифологией фашизма, которая есть квинтэссенцией буржуазности как таковой. Интеллигентоподобные (интеллигенционизм, интеллигенозность давно уже властвуют, вытравив интеллигенцию и наведя поклеп на фаустовскую идею, скомпрометировав напрочь) считают должным исполнять социальный заказ, даже на реабилитацию фашизма, с той же невозмутимостью, с какой профессиональные архитекторы считают безразличным, что именно проектировать и возводить — концертные залы и культурные центры или концлагеря с крематориями и газовыми камерами. И здесь современность с иронией квиты. С иронией, которая из «муравьиной кислоты вместо крови» (Ю. Тынянов), но превращается в подсахаренную водичку, а романтику, опасное и грозное оружие, ставит музейным пыльным экспонатом, не гнушаясь свирепой сентиментальности, замешанной на пошлой жестокости. Глу-

пость прозы вымещает, вытесняет поэзию. Ирония превращается в лицемерие. Система делает из искусства и философии, да и самой жизни, законченных проституток, и тут же в морализаторском раже обвиняет их в этом. Романтика, нажившая полицейский интеллект, превращает иронию в занудство, которое живет ожиданием комариного укуса с дальнейшим расчесыванием. Восприятие расходится с представлением, оставляя кабацкий привкус. Гипертрофированное (гаер-трофированное, трофическое) снобистское неприятие вульгарного трансформируется в недостаток. Вульгарность становится нормой и залогом пуританского и ханжеского. Урок, который преподносит история, не совпадает с уроком, который извлекают из оной, вызывая самоудовлетворение при помощи более-менее остроумного нигилизма. Языковость сменяется языкатостью, тяготея к затертым формам и не обращая внимания на диковинки смыслов, изредка вымывающиеся из серой массы. А ирония — бессовестна. Она бессильна против самозаводящегося благородного негодования.

Конечно, есть и другие способы не замечать с невозмутимым видом. Все это было бы смешно, если списать на игры мелкого беса. («Топорная работа», — так нелестно отозвалась старушка-процентщица на роман Достоевского Федора Михайловича «Преступление и наказание». Но есть и положительные рецензии — от Буратино.) Если отбросить амбиции, или заверять, что их не было и нет, обращаясь к иронии (а надо бы — обратиться в нее, грянувши оземь), то понимаешь, что она — зеркало особого рода, очень правдивое, здесь ты весь: и твое остроумие, и твои возможности, и твоя заведомая серьезность. Мне никогда не было смешно в комнате смеха. Остались ли они? Но здесь оборотень ситуации в том, что ирония-то — вот. Она очеви(ж)дна, а ты корчишь из себя зеркало, пытаясь ее адекватно выразить, и плывешь. Потому что стать плоским не можешь, а станешь — себя потеряешь. И вот это корчащееся зеркало аморфно удивительным образом. Образ этот сродни тому, что привиделось Сокурову в его «Фаусте», который воспринимается поначалу как оскорбление, но потом, когда принудительное действие фильма заканчивается, начинается самое захватывающее: тот, кто «часть силы той, что без числа творит добро, всему желая зла» (да тот самый, кто вещал : «Я дух, всегда привыкший отрицать. И с основаньем: ничего не надо. Нет в мире вещи, стоящей пощады, Творенье не годится никуда») оказывается вовсе не красавцем в камзоле с петушиным пером, остроумцем, ироником, интеллектуалом (всего и делов-то: хром на одну ногу),

а некоей едва обозначенной бесформенной массой. Не ангел света и даже не мелкий бес. Сразу приходит некая апокрифическая ассоциация, что зло изначально не сотворено, ведь и материя не сотворена, она — ничто. Потому и действие творения сотворяет из ничего и происходит в ничто. Поэтому и первочеловек и зло — из одного теста, но человек оформлен, а зло бесформенно. Но оно не имеет внутреннего желания стать формой форм, довольствуясь тем, что есть. Эта глина посредственна, и творение посредственно не только потому, что опосредовано деятельностью. Будущее мира — серость и посредственность. Призывают к умеренности, к «золотой середине», а по сути — к посредственности, как к идеалу, исповедуя неприятие меры», культивируя «веру» во всех проявлениях. (Не случайно в последнее время активно окучивают эту тему, наваливая кучи диссертаций, пытаясь нейтрализовать иронию и примирить ее с верой и богом.) В сущности Сокуров показал протухание фаустовской идеи, это всерьез, и никакая ирония невозможна, когда смотришь на декларацию прав бездарностей обывателей: каждый гражданин гражданского общества имеет право быть посредственным. Тупым. И не мыться. (Это не значит, что он, уничтожив иронию, дал индульгенцию усредненности, но многие вздохнули с облегчением.) Метафизическая тухлятина стала, как модно нынче говорить, абсолютно узаконенной и легитимной. Метафизическая вонь стала запахом и даже благовонием.

Ирония и лукавство. Всё включено. Мирихлюндия. Философия начинается не с удивления. А с иронии. Она многозначительна. Но однозначна. Если написать все об иронии, получиться только одна ирония. Если все отрицать в апофатическом раже, то останется только ирония, правда, божественная, как глупость предустановленной гармонии. Самонадеянность иронии. Ёрничание. Снисходительность. Отписывать иронию софистике — слишком много чести. Современность страдает недержанием речи и заходится в болтовне и графомании, поскольку связи между словами утеряны. Так что, обходя вопрос, к чему вообще писать об иронии, да еще академически скучно, поневоле приходишь к выводу, что сам текст прежде всего должен быть фрагментарным, рваным, и пустоты расскажут больше, чем случайные слова. Во-вторых, единственным адекватным способом выражения может быть только связующая и всеразрешающая бессвязность случайных соотношений, которые произволом мнения замещают свободу, тень которой обозначает ее присутствие во всей нездешней

негативности. Роль свободы играет фривольность и развязная фамильярность по отношению к историческим персонажам, чувствам, произведениям.

Все дело, конечно, в конечности и отрицательности. Не ирония отрицает, точно так же, как время — не источник, а следствие прехождения, исчезновения бытия. Да и свобода, пребывая в идее в «еще-не», в отсутствии, порождает время в абстракции возможности, как нестача бытия. Тот редкий и обычный случай, когда случайность, свобода, время и ирония образуют, как выразился бы Гегель, коллизию, составляющую единую сущность, которая еще не превратилась в единство и может произойти или не произойти, пока что связанная единым процессом отрицания. То есть они сходятся на формальной основе голого отрицания, служащего им «всеобщим эквивалентом». Ирония вообще соблазняет восхитительным разрешением произвола, вот уж воистину истинная ложь: «делай, что хочешь», и наступает коварное и суетливое разрушение самомнения, столкнувшегося со всего размаху с тем, что оно не может определиться. А что, собственно, оно хочет и хочет ли вообще? В этом яд иронии. Парализующий и разлагающий ткань бытия. Желания разъедаются иронией, которая одна — истинна. Далее и везде смысл иронии схватывается не связным текстом, но квантами пространства, только указаниями на проблемы.

Ирония и интонация. Ирония для времени — все равно, что интонация в музыке. Ирония в музыке — это не пародирование, не гротеск, не балет «Болт» Шостаковича, а скорее «Катерина Измайлова», «Воццек» Берга, «Питер Граймз» и «Смерть в Венеции» Бриттена, и вся музыкоподобная феерия музыки двадцатого века по сей день. То же и в поэзии, где ирония — не стеб в духе Иртеньева, Губермана, Вишневского, Пригова, Парщикова и др. и даже не эпиграммы Пушкина или забавки, которыми многие баловались и балуются, но самая что ни на есть высокая и серьезная, трагическая и драматическая поэзия как таковая, которой не до смеха и в которой нет места плоскому ассоциативному мышлению. Ирония задает направления произвольно, обращенная в прошлое и оттолкнувшаяся от уже даденного, имеющегося в наличии и провоцирующего своим начинающимся старением. Ирония возникает, когда предмет и так обречен. Она — реакция «от» в никуда. О Красоте, как имманентной цели, речь не идет. «Красота перестает быть красотой, как скоро душе даст определенное направление, и потому так нелепы все поучительные и назидательные выродки поэзии» (как тонко заметил в своих «Дневниках» Кюхель-

бекер в записи от 18 декабря 1891 года [7]). «Да и черт с ней» — вот смысл всего современного искусства, озабоченного своей преходящестью, временностью и мгновенностью, что тоже позволяет вывернуться и избавиться от времени. По сути все искусство, а вместе с ним и так называемая философия и эстетика в частности, кичиться своей ублюдочностью и гордиться уродливостью, поскольку крайние формы отчуждения культивируют вырождение как способ отстранения, критики современности, — своего рода анархизм, как мандат на эрзац свободы. Произвол. Увы! За всем этим скрывается только желание торговать собой. Даже ирония оказывается не более, чем рекламным трюком.

А между тем, Время встроено в развитие, им порождаясь и становясь условием и основанием этого развития как во всеобщем, так и в особенном и единичном. Не в смысле меры, времяизмещения (свойственное произведению, хронически времязависимому, все усилие коего направлено на презервацию себя в определенности, тогда как процесс формы противится этому и стремится выйти из себя, пусть только в желании экспансии. Оно вымещает на времени свое негодование, возмущая его ввиду неминуемой гибели), но обводов, обтекаемости для временных потоков и турбулентностей. Похищенная серьезность отношения. Изнанка удивления. Раз-очарование в ожидаемом, в неожиданности. Раз-воображение как агония воображения.

Освобождение и образование, которое закабаляет и воспитывает профессиональный кретинизм вопреки своему предназначению. Невозможность научить иронии. Остроумию. Что не означает, что качества эти врожденные: предварительная, предвосхищенная, ожидаемая ирония убивает способность восприятия, поскольку не позволяет идее застать, застигнуть себя врасплох. Лишает остроумия и формирует непрошибаемую тупость, в том числе и эмоциональную, которая знает только механизм принуждения.

Ирония, при всей насмешливости, чрезвычайно серьезна по отношению к себе. Ирония иронии совершенно невозможна. Тем и живет — совершенством и невозможностью.

Ирония — образ. Образ процесса, сквозняк. Проходимость как таковая, может быть, лабиринт, но не тупик. Образ иронии, «нас возвышающий обман» вызывает самореференцию иронии, которая под заманчивым слоганом «Истина не открывается, а создается» проталкивает идею, что следует считать истиной все, что действительно, реальным любую иллюзию.

Не одного меня охватывала оторопь, загоняющая, говоря современным посконным языком, в ступор при чтении странно неуместного на первый взгляд замечания Гегеля по поводу иронии в «Философии права». Я противник цитирования, но в данном случае снова просто невозможно не привести этот отрывок полностью: «Наконец, наиболее крайней формой, в которой эта субъективность полностью постигает себя и высказывается, является образ, названный, пользуясь заимствованным у Платона словом, иронией, — ибо лишь название, слово, а не суть взято у Платона; он употреблял это название для обозначения приема у Сократа, который применял его в личных беседах против ложных представлений неразвитого софистического сознания, чтобы способствовать выяснению идеи истины и справедливости; но Сократ толковал иронически лишь софистическое сознание, а не саму идею. Ирония — это лишь отношение в диалоге к лицам; вне отношения к лицам существенным движением мысли является диалектика, и Платон был так далек от того, чтобы принимать диалектику самое по себе, а еще того менее иронию самое по себе за последнее и за самое идею, что он, напротив того, кончал погружением шатаний субъективного мнения в субстанциальность идеи.

Мой покойный коллега, профессор Зольгер, принял, правда, выражение «ирония», введенное господином Фридрихом фон Шлегелем в прежний период его писательской карьеры и получившее у него указанное превыспренное значение субъективности, знающей самое себя в наивысшем; однако более правильный вкус и философская проницательность Зольгера заставили его принять и сохранить преимущественно лишь заключающуюся в этом выражении собственно диалектическую сторону, движущий нерв спекулятивного рассмотрения. И все же совершенно ясным этот взгляд я не могу признать, не могу также согласиться с понятиями, развитыми Зольгером в его последней содержательной работе, представляющей собою подробную критику чтений господина Августа Вильгельма фон Шлегеля о драматическом искусстве и драматической литературе (Wiener Jahrbucher, Bd. VII, S. 90 ff). “Истинная ирония, — говорит там Зольгер на стр. 92, — исходит из той точки зрения, что человек, пока он живет в сем земном мире, может исполнить свое предназначение также и в высшем значении этого слова лишь в сем мире. Все, чем, как нам кажется, мы выходим за пределы конечных целей, представляет собою пустое воображение. Даже величайшее существует для нашего действования лишь

в ограниченной конечной форме». Правильно понятые, эти слова — в духе Платона и очень верно сказаны против вышеупомянутого пустого стремления к (абстрактной) бесконечности. Но утверждение, что наиболее великое, как, например, нравственность, существует в ограниченной конечной форме, — а нравственность есть по существу действительность и действование, — является чем-то совершенно отличным от мысли, что нравственность представляет собой конечную цель; образ, форма конечности ни капли не лишает содержания, нравственности той субстанциальности и бесконечности, которыми последняя обладает в самой себе. Далее мы читаем: «И именно поэтому оно (наиболее высокое) в нас столь же ничтожно, как самое малозначительное, и необходимо погибает вместе с нами и нашим ничтожным смыслом, ибо поистине оно — лишь в боге, и в этой гибели оно преображается в нечто божественное, которому мы бы ни были бы сопричастны, если бы не было непосредственного присутствия этого божественного, которое и открывается нам именно в исчезании нашей действительности; — то настроение, для которого это непосредственно ясно в самих человеческих событиях, есть трагическая ирония». Произвольность названия «ирония» не имела бы большого значения, но нечто неясное заключается в утверждении, что именно самое высокое гибнет вместе с самым ничтожеством и что лишь в исчезновении нашей действительности проявляется божественное, как мы это читаем на стр. 91: «Мы видим, как герои начинают сомневаться в том, что наиболее благородно и прекрасно в их помыслах и чувствах, начинают сомневаться не только в их успехе, но так же и в их источнике и их ценности, и мы даже больше возвышаемся при виде гибели лучшего. Что трагическая гибель в высшей степени нравственных образов может нас интересовать (заслуженная гибель напыщенных чистых мошенников и преступников, как, например, герой новейшей трагедии, носящий заглавие “Вина”, представляет уголовно-юридический интерес, но не представляет никакого интереса для истинного искусства, о котором здесь идет речь), возвышать и примирять с собою лишь постольку, поскольку такие герои трагедии выступают друг против друга с различными, рано правомерными нравственными силами, которые, по несчастному стечению обстоятельств, вступают друг с другом в коллизию, и вследствие этого своего противоборства чему-то нравственному несут вину; что из этого получается правота и неправота обоих; что благодаря этому истинная нравственная

идея выходит в нашей душе очищенной, торжествует победу над односторонностью и, следовательно, выходит примиренной; что таким образом, не самое высокое в нас погибает, и мы возвышаемся не при виде гибели самого лучшего в нас, а, напротив, при виде торжества истинного, — что именно это и есть подлинный, чисто нравственный интерес античной трагедии (в романтической трагедии это определение подвергается еще дальнейшему видоизменению); — все это я подробно развил в "Феноменологии духа". Но нравственная идея вне этой коллизии нравственных сил и гибели попавших в это несчастное положение индивидуумов действительна и налична в мире нравственности, и в том-то и состоит цель и результат реального нравственного существования государства, что это самое высокое не оказывается в своей действительности самым ничтожным, — тем-то и обладает в государстве нравственное самосознание, что оно созерцает и знает о нем, и это же постигает в нем мыслящее познание». Здесь Гегель фальшивит, прекрасно зная, что «нравственность, осознающая себя как нравственность» — безнравственна, а государство, столь медоречиво расписанное профессором, даже не морально, являясь машиной для подавления. Уж Гегелю ли это не знать. Диалектик спасовал перед обывателем, ирония уступила пошлости. Разум предпочел холуйствовать. Еще бы Гегель признал правоту Зольгера, если последний прямо говорит, что ирония — ясная резкая гибель идеи в ее откровении. «Средоточие искусства, где достигается совершенное единство созерцания и остроумия и которое состоит в снятии идеи самой же идеей, мы называем художественной иронией. Ирония составляет сущность искусства, его внутреннее значение, поскольку она есть такое состояние души, при котором мы сознаем, что нашей действительности не было бы, не будь она откровением идеи, но что именно поэтому идея вместе с действительностью становится чем-то ничтожным и гибнет» (с. 421). Так что противоречие иронии и вдохновения являет сущностные силы искусства и даже жизни, как интерес. «Ирония — живой зародыш искусства». И мнимая ирония и ложная тяготеют к ничтожеству, рождая пошлое шутовство, игру низших и низменных сил воображения (к чему тяготеет современное искусство в своей обыденности, обыдленной абстрактности насмешек над человеческим, сводящихся к тому, что жизнь ради высокого предназначения человека — самообман, в чем современное искусство и философия настолько преуспели, что Лукиан и К.-М. Виланд, столь морализаторски предубежденно порицаемые

Зольгером, чуть ли не святые по сравнению с героизированной мерзостью настоящего. Что касается современной иронии, то она начисто лишена остроумия, являясь чистой компиляцией с претензией на юмор, хотя он не наблюдается, замещенный бесконечным злорадством по поводу торжествующей низости обыденного сознания. Поэтому противоречие идеи и явления разрешается в бессознательной иронии в пользу примитивного мизерного потребительского мироощущения, но возведенного в ранг самосохранения, вполне в духе Э. Бёрка, трактат которого «Философские исследования о происхождении наших идей о возвышенном и прекрасном» (1757) оказал такое колоссальное влияние на немецкую философию. Теперь уже не ясно почему и в чем видели выдающееся остроумие этого сенсуалиста. Потрясающая решительность Зольгера ставит в тупик, когда он всю сущность искусства сводит к иронии. (Современный неоромантизм современного искусства не имеет с этим ничего общего, поскольку Зольгер не унижал идею, признавая ее саморазрушение во времени, что невозможно для всей немецкой классики и вообще для платонизма во всех превращениях. Нынешние просто отказываются от идеи довольствуясь случайным эффектом ощущения, основанного на впечатлении.) На обвинения в безнравственности такой позиции Зольгер отвечает: «Только не пытайся, — ..., — употребить против меня оружие той вялой лицемерной религиозности, которую некоторые поэты пытались поддержать своими выдуманными идеалами и которая так успешно содействует тому, чтобы превратить в полнейшую бессмыслицу и так уже достаточно распространенный самообман таких понятий, как религия, отечество, искусство. Тот, у кого не хватает мужества понять, что даже идеи ничтожны и преходящи, — погибший человек, во всяком случае для искусства» [8]. Хорошее название для трактата: «Погибший человек во всяком случае». Однако там, где нет идеи, как у большинства, занимающихся современным искусством и эстетикой, на ее место становится ее отсутствие с иронией в виде идеологии, заменяющей фантазию и воображение долженствованием, предписывающим схемы функционирования. Так что современное искусство совсем не удивительно, оно предсказуемо и встроено, вживлено механически в действительность.

«Вершина постигающей себя как нечто окончательное субъективности — ее нам еще остается рассмотреть — может состоять лишь в том, что она знает себя этой решающей инстанцией в вопросах об истине, праве и долге; в себе

эта вершина уже имеется в предшествующих формах. Она состоит, следовательно, в том, что нравственно объективное знаемо ею, но вместо того, чтобы, забывая о самой себе и отрываясь от себя, погрузиться в это нравственно объективное и действовать, руководствуясь им. Она, находясь в связи с ним, держит его вместе с тем на почтительном расстоянии и знает себя тем, что хочет и решает так, но можно точно так же хотеть и решать иначе. Вы принимаете закон на самом деле и честно, как нечто само по себе сущее; я тоже знаю об этом законе и принимаю его, но я вместе с тем пошел дальше вас, я стою также и вне этого закона и могу его сделать таким или иным, действовать так или иначе. Не дело превосходно, а я превосходен; я являюсь господином закона и предмета и лишь играю ими как своим капризом, и в этом ироническом сознании, в котором я даю погибнуть самому высокому, я лишь наслаждаюсь собою. Этот образ есть не только тщета всякого нравственного содержания права, обязанностей, законов, не только зло, и притом совершенно всеобщее внутри себя зло, а прибавляет еще к этому форму, субъективное тщеславие (Eietlkeit), побуждающее меня знать самого себя этой тщетою (Eitelkeit) всякого содержания и в этом знании знать себя абсолютом, — в какой мере это абсолютное самодовольство не остается одинокой литургией себе самому, а, скажем, способно образовать также и общину, связующими узами и субстанцией которой будут тоже, примерно, взаимные уверения в добросовестности, в хороших намерениях, довольство этой взаимной чистотой, а преимущественно любование великолепием этого знания и высказывания себя и великолепием культивирования этого знания и высказывания, — в какой мере представляет собою нечто родственное с рассматриваемой ступенью то, что называется прекрасной душой (это — более благородная субъективность, тлеющая в сознании тщеты всякой объективности и, следовательно, также и в недействительности самой себя) а равно и другие образования, — на эти вопросы я дал ответ в “Феноменологии духа”; весь отдел указанного произведения, носящий заглавие “Совесть”, можно сравнить в особенности с тем, что мы сказали здесь также и относительно перехода вообще на высшую ступень, которая, впрочем, там определена нами иначе» [9].

Я понимаю, что нагромождение текстов ясности не прибавляет, но будем считать, что эта вынужденная громоздкость по контрасту противопоставлена поверхностности и легкости (впрочем, кажущейся) иронии, ворочающей глы-

бами языка. Не удержусь, чтобы вслед за Гегелем не поразиться: «Прибавление. Представление может пойти дальше и обратить для себя злую волю в видимость доброй. Если оно и не может изменять зло в его природе, то оно все же в состоянии сообщить ему видимость добра. Ибо каждое действие имеет в себе нечто положительное, а так как определение добра в противоположность злу сводится к тому, что добро есть положительное, то я могу утверждать, что поступок в отношении моего намерения — добрый. Зло, следовательно, находится в связи с добром не только в сознании, но и с положительной стороны. Если самосознание выдает поступок как добрый лишь для других, то эта форма представляет собой лицемерие; если же оно оказывается в состоянии также и для себя утверждать, что деяние есть доброе, то это еще более высокая вершина субъективности, знающей себя абсолютно, субъективности, для которой добро и зло, взятые сами по себе, исчезли и которая может выдавать за таковые все, что ей угодно.

Это — точка зрения абсолютной софистики, провозглашающей себя законодательницей и относящей отличие между добром и злом за счет своего произвола. Что касается лицемерия, то сюда, например, принадлежат главным образом религиозные лицемеры (Тартюфы), которые аккуратно исполняют все обряды и, сами по себе, может быть, на самом деле благочестивы, но с другой стороны, делают все, что им угодно. В наше время уже очень мало говорят о лицемерии (А в наше вовсе не говорят, что о нем говорить, если лицемерие стало абсолютной реальностью и способом бытия — *А. Б.*), потому что, с одной стороны, это обвинение кажется слишком суровым, а, с другой стороны, лицемерие, лицемерие в его непосредственном виде более или менее исчезло. (Ну разве что раздвоенность земной основы, заставляющей лицемерить дух, наконец разрешилась в одномерность и монадность, которая в тотальном эгоизме не знает другого и непротиворечива как труп — *А. Б.*) Эта голая ложь, это прикрывание видом добра стало теперь слишком прозрачным для того, чтобы остаться незамеченным, и разделение, поставление добра по одну сторону, и зла — по другую, уже не существует в такой простоте с тех пор, как возрастающая образованность сделал шаткими противоположные друг другу определения. Лицемерие теперь приняло более тонкую форму, а именно форму пробабилизма, состоящего в том, что совершивший какой-нибудь поступок старается превратить его для своей собственной совести в нечто

такое, что можно представить себе и добрым поступком. Эта форма может выступить лишь там, где моральное и доброе устанавливается авторитетом, так что имеется столько же авторитетов, сколько оснований, чтобы утверждать, что зло есть добро. Казуистические теологи и, в особенности иезуиты, обработали эти казусы совести и несметно увеличили их число.

Когда рассмотрение этих случаев достигает чрезвычайной утонченности, тогда возникают многочисленные коллизии, и противоположности между добрыми и злыми действиями становятся такими шаткими, что в отношении к отдельным случаям последние оказываются переходящими одно в другое. Теперь желают только вероятного, т. е. приблизительно доброго, которое может быть подтверждено каким-нибудь основанием или каким-нибудь авторитетом. Характерное своеобразие этой точки зрения состоит, таким образом, в том, что она содержит в себе лишь абстрактное, а конкретное содержание выставляется как нечто несущественное, которое скорее остается предоставленное произволу голого мнения. Таким образом, человек, может быть, совершил преступление и вместе с тем хотел добра; если я, например, убиваю злого человека, то я могу выдавать за положительную сторону то, что я хотел противодействовать злу и сократить его размеры. Дальнейший шаг вперед от пробабилизма заключается в воззрении, согласно которому имеет значение не авторитет и утверждение другого лица, а лишь сам субъект, т. е. его убеждение, и лишь через последнее нечто может стать добрым. Недостаток этого воззрения заключается в том, что добро и зло, согласно ему, имеют отношение лишь к убеждению и что нет самого по себе сущего права, для которого это убеждение являлось только формой. Несомненно, не безразлично, делаю ли я что-нибудь из привычки и из желания не отступать от господствующих нравов или я делаю это потому, что я проникнут убеждением в истинности такого действия; однако объективная истина все же отлична от моего убеждении, ибо последняя вовсе не имеет в себе различия между добром и злом, так как убеждение всегда остается убеждением, и дурным, согласно этому воззрению, было бы лишь то, в чем я не убежден. Так как эта точка зрения представляется наивысшей, погашающей различия добра и зла, то при этом соглашаются с тем, что это наивысшее подвержено также и заблуждению, и поскольку оно падает со своей высоты, делается снова случайным и кажется не заслуживающим уважения. Эта последняя форма есть ирония, сознание, что с таким принципом убежде-

ния недалеко уйдешь и что в этом высшем критерии господствует лишь произвол. Последняя точка зрения вышла, собственно говоря, из фихтевской философии, провозглашающей “я” абсолютом, т. е. абсолютной достоверностью, всеобщей яйности, которое в ходе дальнейшего развития достигает объективности. О Фихте нельзя, собственно, сказать, что он сделал произвол субъекта принципом практики, но позднее Фридрих фон Шлегель придал этому “я” смысл особенной яйности и сделал из него бога даже в отношении добра и красоты, так что объективное добро есть лишь сознание моего убеждения, получает опору лишь через меня, и я как господин и повелитель могу заставить его появиться и исчезнуть. Когда я занимаю некоторую позицию по отношению к чему-то объективному, оно вместе с тем погибает для меня и, таким образом, я парю над необъятно огромным пространством, вызываю образы к существованию и разрушаю их. Эта крайняя точка зрения субъективности может возникнуть лишь в эпоху высокой образованности, когда погибла серьезность веры и от нее остается лишь представление о тщете всех вещей» [10].

Вполне объясним ужас Гегеля ввиду иронии, грозящей все превратить в несерьезное времяпрепровождение или игривые забавы. То, что устоит перед ней, что останется после ее уничтожающего воздействия, уцелеет после насмешки, которая сопровождает иронию, может считаться истинным. Хотя свою разрушающую, доводящую, как больная совесть, до стыда, силу ирония заимствует у практики, всей своей всеобщей мощью обрушивающейся в единичное. Так бывает и в творчестве, и преимущественно в творчестве, отданном на откуп искусству — приложение творческих, а по сути сущностных сил эпохи в точке настоящего вторгаются всей своей объективной мощь в субъективность, объективируя, а попросту опредмечивая, распредмечивая ее через действие, равнозначное поступку, но не сводимое к последнему. Решимость здесь играет не последнюю роль, и дерзость тоже, но по сути они излишни и тем эстетичны трансцендентально, потому что здесь решает не произвол, желание и прочее, а невозможность уклониться во всепоглощающем развитии. Ты способен только забыть себя и тем избавиться от убогой формы «я». Лицемерие здесь невозможно. Преодоление «я» есть преодоление и самомнения иронии, которая приложима ко всему и ко всему относится, кроме зла. Ирония по отношению ко злу не только невозможна, но и недействительна, если только не использует насмешку и откровенное издевательство. Зло не выносит смеха.

Сама по себе ирония не остроумна, но остроумие без нее не случается. Суетность и скоропостижность иронии не позволяет при помощи нее, как проносного, «просветлить, просвежить душу». Ирония не боится разочаровывать, поскольку и не чаяла очаровывать. Ее махинации только тогда теряют смысл, когда она становится назидательной, поучительной и категоричной, в случае, если она окаменевает в непререкаемой идеологичности. До тех пор, пока она «путя» (в Петровские времена «путь» был женского рода), любая фрагментарность и произвольный переход от одного фрагмента к другому связан ее именем и возможен без объяснения этой связи одним совершенством, совершенностью случившегося. Ее «злое зелье» не вытравить никакими гербецидами логики. Разрушение идеи оставляет ее без понятия, но сохраняет претензию на элитарность, хотя ирония не элитарна, а эгалитарна. Претендуя уже не как принцип, что было в истории, и даже не на какую-то методу, но на статус идеологии, в каждом отдельном случае ирония норовит стать нормой, образцом и относится «зверхньо» (хорошее украинское слово) ко всему, что не она, презирая и почти ненавидя истоки своего происхождения, но вынуждаясь высказываться по поводу и походя рождая необязательные проблемы, от решения которых ничего не меняется.

Скажем, от того, что доказана гипотеза Пуанкаре и она стала теоремой, никакого толку. Она и так работала. От бесконечных писаний об иронии ничего не меняется.

Писать об иронии — все равно, что писать учебное пособие, инструкции по эксплуатации чувств. Игра на понижение. Приведение сверхестественного в чувство. Сдвиг. Взгляд навыворот, со стороны и в спину. Знать, что такое ирония, вовсе необязательно. Именно поэтому проблема в том, чтобы создать ее из ничего. Отсюда заманчивость чистой эстетики. Ирония, как уже говорилось, — идеатум времени, образ его, вступающий в резонанс с сущностью, что позволяет вывернуться из предзаданности и преднамеренности. Ирония — идеология современности, впрочем, устремляющаяся не к возвышенной бесконечности, а всеми силами представляющая бесконечное ничтожество. Унижающая похабная сила, покушающаяся на ту самую субъективность, от имени которой вещает, пытающаяся субъективность лишить содержания, предметности и нивелирующая, уравнивающая до однообразия. При этом ирония покушается на личность, поскольку сама безлика. Лик иронии вывернут наизнанку,

как маска. Личность в развитии должна (как я не люблю это «должна») себя преодолеть, сняв границы и пределы. Ирония устраняет личность, уничтожая, но сперва унизив, забетонировав в неразличимое «все остальное». Утвердив себя в качестве законодателя вкуса, ирония нивелирует все и упраздняет сам вкус, устанавливая диктатуру. Начальственный тон иронии забывает, что достоверность идеи — в ее самокритике, в умирании ее, воплощении в движении. В этом ее бессмертие. О чем сознательно забывали относительно недавно, да и сейчас забывают в культиндустрии, впадая в пафос Хайдеггера и Ясперса. (Ими надо переболеть в философском детстве, как свинкой. Во взрослом возрасте это чревато импотенцией.) Если в чем и укорять то, что сейчас выступает под рекламной вывеской «Философия», а особенно «Эстетика №» (Почему не «Колбасы» или «Тысяча мелочей?»), то в отсталости и сентиментальной провинциальности, которой не знамо зачем гордятся, видя в ней близость к почве и истокам.

Необходимость и судьба, которая та же необходимость, но уже в самосознании субъективности, где нет места механике. Неумолимость и неотвратимость носит вполне человеческий характер. Причем требует не покорности, а выступанию навстречу. К сожалению, последняя сильно скомпрометирована «нордическим сверхчеловечеством», достаточно почитать какого-нибудь загребущего В. Гребе [11].

Ирония — бесконечное дление отрицания, ограниченного однажды. Попытка бросить все. Абстракция другого истинного бывания. Негация во имя истины, которая в себе (в себе любимом). Дескать, уж мы-то знаем, но не скажем.

Поскольку предметом ионии может быть абсолютно все, то она мимикрирует, приобретая окрас того, от чего отказывается. Она может быть пошлой, ограниченной, возвышенной и принимает любые формы, претендуя на взгляд со стороны, а там уж — как повезет, — со стороны внешней формы, внутренней, с точки зрения истины или сущности. Может быть инструментом развития, а может быть репрессивным моментом подавления. Она бывает глотком свежего воздуха в спертом пространстве, скальпелем, удаляющим формальное единство, а может быть связующим звеном. Все дело в доверии. Поэтому, становясь предметностью времени, которое есть нетость в чистом виде, она временами блефует, угрожая скептицизмом или прямым цинизмом. И эти угрозы, в отличие от самой иронии, не пустые. Здесь можно заиграться насмерть. Превратиться в профессионального ходячего ироника, чистое отрицание, доотри-

цавшись — если бы до основания — дотла, превратившись в саму иронию. «Идеатум» — это и есть предметность, свернутая в себе и утверждающая свою объективность. Она — не только «интерес» времени, его сродство, но и идея принудительная и принуждающая — идеология.

Что связывает время и иронию? И то, и другое — «продукт отрицания, которое им не принадлежит и также отрицает как объект, так и предметность во имя метафизической субъективности. Отрицание в себе без предикатов. Ни время, ни ирония сами по себе ничего не отрицают: время — результат прехождения не своего бытия, ирония же не вызывает отрицания, а сама есть отрицание в чистом виде, как следствие иного действия. Они совпадают в том, что время, в кажимости своей власти, угрожает стереть, загубить, а ирония выступает тут прямым действием времени, уничтожая, но часто просто унижая действительность, особенно когда она и так унижена. Ирония — показывание пальцем, плохие манеры. Но зато есть оправданием, нет, не эклектики, а собирания мусора. Как надпись на мусорных баках: «Роздільне збирання мусора (не сміття) — крок у майбутнє». Когда у мира нет будущего, его можно создать? Спроецировав нужду в будущее время и далее, лишь бы было это будущее. Так что ирония — не от богатства мысли, а от нищеты опустошенности, хотя и может служить средством для расчистки пространства и территорий.

Соблазн писать об иронии в том, что это рискованно: очень легко оказаться в глупом положении. И самоирония не спасает.

Это действительно тонкий яд. Так о чем же речь? Не только о том, что со времен античности ирония поменяла свои, как сказали бы сейчас, «статус», направление. А в том, что стала всеобщей, потому речь идет даже не об иронии времени, а о времени иронии (как осточертели эти диалектические перевертыши, реверси, которыми подменяют диалектику). В какой-то степени ирония стала заменой остроумия и даже воображения в эпоху всеобщего слабоумия. Благодаря иронии мир стал двоиться, — такой астигматизм. Вывихнутая жизнь всегда готова к подвоху. Все может быть подвергнуто осмеянию. И сама ирония. Так что ирония, которая (банальная поза) переводится как притворство, в притворяющемся ненастоящем мире является защитой от пошлости и притворства, но в тот же момент нет ничего банальнее иронии. Это попытка отстранения, жест отказа от мира, но только для того, чтобы отстраниться от унифицированности и одинаковости. Ирония влечет, но самое парадоксаль-

ное, что тексты о ней скучны до чрезвычайности. Нет интриги, хотя сама она — залог парадоксальности. По крайней мере — претензия на что-то оригинальное. Нет, ирония не оригинальна, она — реакция на нечто, что было отважилось быть. Так что и дурак может быть ироничен. Ирония — видимость, которая заведома, как скрытая цель. Меньше всего она бывает искренна. Пауза. Знак препинания. Сплошное «?!», «?!!!». Так что писать о ней можно все и ничего, и только с иронией, потому что она — не проблема, а действие, имеющее неограниченные возможности и направленное в никуда. Другое дело, если ирония получает меру и преследует некую цель как «да, но» являясь контриронией одновременно, используется как временное средство против диареи форм, которыми страдает современность. То есть ирония в большинстве случаев (а иронии столько, сколько случаев, и каждый раз она разная, она вообще разность в большей степени, чем отрицание) это публичное заявление, что «я» здесь не при чем. Ложь с претензией на правду, хотя при всеобщем фальшивом существовании — почти всегда удачная попытка фальшиво почувствовать чувство собственного достоинства. Самым полным выражением сущности иронии было бы выйти на международной конференции и заорать с трибуны: дамы и господа, уважаемые коллеги! Ирония это: «Ой-ой-ой, какие мы...» С претензией на то, чтобы быть «переходной формой». В свое время Рорти (которого я почему-то терпеть не могу, как весь прагматизм, неопрагматизм и сциентизм аналитической философии заодно, может быть из-за неистребимой пошлости, которой он блистает, репрезентируя всю дурь современного философствования, с плохо прикрытым снобизмом и чванством, причем это относится ко всем его работам) недурственно, с профессиональной сноровкой вцепился в сентенцию Дональда Девидсона о «passing theory» — «переходной теории», высказанной в работе с веселым названием «A Nice Derangement of Epitaps» («Милое расстройство эпитафий»). «Девидсон развивал переходную теорию о шумах и надписях, производимых человеческими собратьями. Эта теория является “переходной” потому, что она должна постоянно исправляться, принимая во внимание бормотания, запинки, слова, сказанные некстати, метафоры, тики, навязчивые идеи, психотические симптомы, отъявленную глупость, приступы гениальности и тому подобное» [12]. Не солидарен я с американцем. На теорию это не тянет, скорее напоминает конвенционализм (знаем, как поступают с нарушителями конвенции, бить будут, но не всякий нарушающий конвенцию

или ее игнорирующий — Паниковский), как в свое время произошло с американским долларом, дескать, давайте договоримся, что он обеспечен золотым запасом, и пусть будет всеобщим эквивалентом, а с ним и более-менее хорошо сделанные фальшивые купюры. Как в период гражданской войны ходят любые самопальные деньги, так и здесь, в условиях всеобщего торгашества по умолчанию, на барахолке, все имеет хождение. Ирония принимает поправки, оговорки, объяснения, извинения ни за что, откашливания, сама являясь полуметафорой, «пере-...», поскольку отрицает нечто более или менее определенное. Но завершиться, разрешиться не может — только прерваться. Очень удобно, поскольку в этом потоке смешивается и мутируют смыслы, которые ни при каких условиях не могли бы встретиться, так что ирония — место встречи, где все возможно и ничего не запрещено. Вот уж где «Отсутствующая структура», агрессия и трансгрессия в чистом виде, проверяющая на состоятельность все. Испытательный стенд, на котором испытывают не только теории, тексты, произведения, но и души, личности, характеры. В этой однозначности — универсальность иронии и ее свободные движения.

Презумпция гениальности как вины.

Идея не исчерпывается — она выставляется.

Искусство наследует иронию, как жертва: в том образе, в котором воспринимается, оно очевидно, при этом образ — это процесс непрерывного деладействия, а то, что ограничено объектом и субъектом, но без оных — процесс снятия — идеатум, образ в себе, без идеологии.

Помпезность иронии?

Молчание Иронии. Ирония и эгоизм. Зазор — не сам смысл, а около. Ирония превратила историю в клевету. Ирония субъективна в чистом виде — без субъекта. Она — тот самый «шаг от великого до смешного» от «любви до ненависти». Своеобычие иронии. Ее индивидуализм, отстранение в себя. Реакция. Она поверхностна, даже если в себе, претенциозна и идеологична, как всякое ассоциативное мышление. Остроумие ради остроумия.

Ирония-месть. Ирония может быть ёрничанием, но не сводится к нему, а рядится, подряжаясь сдвинуть что угодно с мертвой точки. Пустой образ самого образа. Шантаж. В образовавшуюся полость свертывается весь мир. Распадающийся мир смерзается в иронии. Не прощающая и не прощенная вседозволенность. Ирония — выпрямление отражений зеркалом, в котором коне-

чное может увидеть себя в бесконечности и на фоне вечности. «На, смотри каков ты на самом деле, на кого ты похож, на что это все похоже.» Вот это подобие и есть я. Переход в зазеркалье одним махом, одним духом безо всяких на то оснований, от одного желания перелистнуть опостылевшее и заглянуть в ничто. Но она плоская, хотя и плоская как клинок. Качествование как таковое, без количества, так же, как бывает время без пространства. Чувство иронии — безнадежная иллюзия, оно — по видимости, как и разрушительная возможность времени. Ирония живет ощущением, сквозит им. Идея иронии — тем более фикция. Она бытует на уровне мнения и представления (в обоих смыслах), выставления напоказ. Ее отрицательность — односторонность. Ни один вкус без этого состояться не может. Ирония — не процесс, она — статичный жест, хотя это статика молнии — то, что она ветвится, ничего не значит: ирония однородна в своей отрицательности, как пауза.

Ирония противостоит самой смерти (но и жизни тоже). Она дает возможность не бояться быть смешным.

Ирония — нашатырный спирт, она приводит в чувство, но собственного чувства не имеет. Она вне собственности

Ирония и юродство. И самомнение. Черпает свою оригинальность через множественность спонтанных отрицаний. Ирония также видимость и надмирность, надминность, надминуемость, неминуемость, по-миновение, уже не только простота над самодовольством, хотя оно может быть в ином роде, когда довольствуешься только собой. «Ирония взирает на все оком Вечности» (Флоренский), и потому не видит ничего, а только подмечает. Ирония — божественная и мирская. Она заменяет гордость и может быть оскорблением. Она заменяет все в деталях. Не только притворство, но и некая театральность.

Это состояние плазмы, предвосхищение. Ирония может быть любой, она и есть любое, только не это, и это тоже. Ленивая, быстрая, жирная. Острая, горячая, ледяная, ретушированная. Она как штриховка, затушевывание, растушевывание, наведение контура, проведение линии, которая имеет начало. Но не оканчивается никогда, даже если коротка, как жизнь. Ее ослепительные тени. Сомнительна в сомнении.

Ирония — запах мира в его явлении, который может быть и дурным.

Ирония — всевозможные оттенки всевозможности в пред-явлении, до явления, блики, игра самой игры. Сама она не бездна — поверхность. Ирония —

способ шампанизации времени (о, снова шампанское, на самом деле самогон, возгонка из забродившего существования) в замкнутых пространствах, превращение конечного объема в бесконечный простор, без нарушения границ.

Ирония имеет репрессивный характер.

Ирония и эклектика. В том александрийском смысле, когда не гнушаются ничем, следуя все же своим основным принципам.

Ирония не универсальна (не отмычка на все времена), она даже не уникальна (хотя бы по месту и времени) она — унитарна. Ирония самой иронии — смерть, длинная тянущаяся полоса без всплесков. Ирония и отречение. Мутации иронии. Чувство юмора (мора), схороненное в ней. Пустобрех. Ирония подобна страсти. Подобострастие? Бесподобная страсть (страть). Ирония — холодный закат. Азарт иронии. Прозрачность и видимость иронии. Безразличие иронии.

К ней приложимы определения, но ее не исчерпывают все словари вместе с ложной задачею создать один большой. Эпистемология давно преодолена, собственно и задача не состоит в преодолении. Ложные и напрасные усилия. У нее свой «Дикционарий слов и экспрессий, потребну для всякого полюбовну обхождения».

Желание: стравить иронию и возвышенное и посмотреть, что будет.

Сама ирония беспринципна, хотя намерения вполне безобидные. Она вспомоществует в преодолении старости. И в дерзаниях духа. И вообще — катализатор всевозможных движений. Не она причина. Как только нечто начинает коснеть, ирония помогает ему произойти в иное. Нет, не «повивальная бабка диалектики», — вполне вечно молодая особа, без собственного чувства юмора, которое она продуцировать не может, но очень хорошо воспринимающая остроумие. Ирония собственных качеств не имеет, и, как женщина, светит отраженным светом.

Опасность для тех, кто осмеливается писать об иронии, в том, что всегда можно выставить себя на посмешище, пусть сознательно, в надежде заинтересовать и вызвать ответную реакцию. Но не в этом суть: ты либо идиот, пытаясь постичь абсолютно очевидное, а именно такой является ирония (у нее нет скрытых смыслов) — предает она своих поклонников мгновенно, от ума и знаний здесь ничего не зависит, — либо человек, который исписался, и ему нечего сказать, либо — совсем уж крайний случай — тот, кому вздумалось позабавиться, решая задачу, которая не задача (вот незадача) и не имеет в принципе

решения, принимая любое, вплоть до плевка и волшебного пенделя. Дескать, да пошла ты. В любом случае — и преклонения, и восхищения, и поругания, и презрения — в дураках остаешься ты сам, какие бы решения не принимал, но зато видишь, какой ты дурак. С иронией, об иронии, а тем паче остроумно, еще никто не смог написать. Блеклая нудотина, тягомотина до тошноты. Поэтому если действительно хочешь узреть себя таким, каким ты есть на самом деле — решай проблему иронии. Нет, создай эту проблему. Она ускользает, и очень лихо: такой себе женский вариант Протея — Рея, Тефия.

К этому можно прибегнуть от отчаяния, когда признаешься, что все, чем ты совершенно истово занимался до сих пор, вся человеческая болтовня, потуги всей человеческой природы, грандиозные процессы во вселенной, все движение, в сущности, — прообраз коварной иронии. Тогда ты обращаешься к ней, нет, не передразнивая, а просто в попытке найти некое противоядие, а на самом деле по-Фаустовски поглядываешь на заветную склянку с зельем иронии. До вот беда: анти-ирония — та же самая ирония. И твое решение проблемы — всего лишь изящный (как тебе кажется) способ свести счеты с жизнью, поскольку, чем больше ты умудряешься и тратишь драгоценное истекающее время, тем больше оказываешься в дурнях. Так стоило ли? Спасает чистая эстетика: тебе оно надо? Нет. Нужды не было. Даже непотребной потребности. Что ты хотел? Ничего. Просто так. Ты еще не потерял интерес к бесконечности, понимаешь, что ни черта не знаешь, не постиг, и не можешь, а времени уже нет, да хоть бы и была вечность, всегда будет бездна непостижимого, но постигаемого. Смотри на звезды и радуйся. И решай сущность в движении, в действии, сведенному к сугубо эстетическому жесту. И побольше иронии к себе, без обожествления и веры в нее.

1. *Херберт З.* Избранное. — М., 2010. — С. 147.

2. *Спиноза Б.* Избр. соч.: В 2 т. — М., 1957. — Т. 1. — С. 625.

3. От классики со времен Сократа и Платона до наших дней і збірки з лаконічною нахальною назвою «Іронія» (Зб. статей. — Львів; К., 2006. — №3. — 238 с. суцільної іронії). От Жан-Поля, Ф. Шлегеля, от Кьеркегора с «Понятием иронии» и Бернарда Шоу с тотальной иронией, до Ионеску, В. Янкелевича (Ирония. Прощание. — М., 2004), странным образом перекликающейся с его же книгой «Смерть» (хотя «смерть — посетитель не ахти какой», как говаривал Мефистофель), плоский *Рорти Р.* Случайность. Ирония. Солидарность. — М., 1996. Кто только не упражнялся в остроумии.

До программной статьи А. Клименко «Метафизика, декаданс и ирония в современном украинском искусстве»; Р. Н. Лейни «Модернистская ирония как один из истоков русского пост-модернизма» — саратовский продукт; И. В. Чердонцева «Философия иронии: от какой-то там специфики к концептуальному конструированию»; Изделие И. Маканникова «Ирония как снятие тоталитарного сознания»; Н. Карпицкий «Ирония и диалектика»; У. Ольховская «К понятию иронии» и даже «Цветная философия иронии. Новая концепция бутиков» — весь слежавшийся мусорный ветер Интернета на эту тему — сходятся они в одном, что ирония — это данность, от которой не уйти и лучше не покушаться на нее, а то как бы чего не вышло, в надежде, что все же что-то выйдет, получиться, куда-то кривая выведет. «Бо ще не було так, щоб ніяк не було». В тот же момент ирония служит оправданием, трансцендентальным аргументом для «вседозволенности», одновременно выполняя роль бритвы Оккама. Честно говоря, никому не хочется быть смешным, хотя соблазн и желание увидеть себя иным заставляет упрямо подвергать свое гипотетическое остроумие проверке, поверяя его самоиронией или провоцируя таковую у окружающих. Можно бесконечно раскладывать пасьянс «Солитер» из известных и не очень фамилий. Мы стали осведомленными, но не очень сообразительными. Однако у всех современников прослеживается хитрое желание каким-то образом иронию обойти, то ли верой, то ли узаконив в качестве почетного метода, или, того хуже, возведя в ранг официальной идеологии, после чего ирония попросту скукоживается до легитимных разрешенных рамок и исчезает, или, наконец, отчуждая, как «приходящую форму», догматически исповедуя «принцип индивидуации» (к которому тяготеет ирония) — апостериори, то есть из последующего выводя постулат онтологически обусловленной раздробленности мира на множество неповторимых сходных, но не тождественных. То есть ирония превращается в своего рода антиципацию, предвосхищение — в способность к угадыванию и провоцированию событий и в способность к проникновению в смысл явлений, сама являясь этим самым явлением. Я намеренно употребляю термины средневековой схоластики для пущей выразительности. Атараксия, которую ожидают, освобождение от «бредового наваждения» не наступает, но достаточно и ожидания. Короче, все, написанное об иронии от имени иронии иначе, чем курьезом, не воспринимается, настолько это далеко от непосредственного действия иронии. Есть некая червоточина, может быть, в том, что сама ирония коварно вышибает, подменяет основания, не желая быть объектом в своей чистой субъективности. Ее безошибочность в безулыбчивости. В этом завяз и А. Шопенгауэр в «О четвероякоком корне достаточного основания». Так что использовать иронию для реституции по отношению к истории — занятие вполне безнадежное, чтобы им заниматься. Но ирония иронию не отменяет, а наслаивается поверх, внахлест, создавая весьма ненадежные основания для мышления. К тому же ирония не знает ни «агапе, ни «каритас» — ни братской, ни сострадательной любви-жалости. Безжалостна, бессовестна, бесстрастна.» В своем уподоблении она «De attractianibus selectivis (Гете, Т. Бергман — долгий след алхимии), nihilo privativo — относи-

тельное ничто, чем, как относительное отрицание, решительно отмежевывается от абсолютного отрицания (nihil negativum) тотального нигилизма.

4. *Кант И.* Критика способности суждения // *Кант И.* Соч.: В 6 т. — М., 1966. — Т. 5. — С. 231.

5. Там же. — С. 231-232.

6. Там же. — С. 236.

7. *Кюхельбекер В. К.* Путешествие. Дневник. Статьи / Изд. подгот. Н. В. Королева, В. Д. Рак. — Л., 1979.

8. *Зольгер К. В. Ф.* Эрвин. — М., 1978. — С. 381.

9. Там же.

10. *Гегель Г. В. Ф.* Философия права // *Гегель Г. В. Ф.* Соч.: В 14 т. — М.; Л., 1934. — Т. 7. — С. 171–175.

11. См.: *Grebe W.* Der tätige Mensch // Untersuchungen zur Philosophie des Handelns. — Berlin, 1937.

12. *Рорти Р.* Случайность, ирония и солидарность. — М., 1996.